



В. П. АВЕНАРИУС

2



# Василий Петрович Авенариус

## Два регентства

"Здесь будет город заложен!" — до этой исторической фразы Петра I было еще далеко: надо было победить в войне шведов, продвинуть границу России до Балтики... Этим событиям и посвящена историко-приключенческая повесть В. П. Авенариуса, открывающая второй том его Собрания сочинений. Здесь также помещена историческая диалогия "Под немецким ярмом", состоящая из романов «Бироновщина» и "Два регентства". В них повествуется о недолгом правлении временщика герцога Эрнста Иоганна Бирона.

# Содержание

Глава первая РЕГЕНТ БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЕТ .	0005
Глава вторая ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ . . .	0018
Глава третья РЕГЕНТ БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ . .	0030
Глава четвертая ПРЕЛЮДИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВАНТЮРЕ . . . . .	0039
Глава пятая РЕГЕНТА "УСЫПЛЯЮТ" . . . . .	0050
Глава шестая КАК ДОВЕРШИЛАСЬ АВАНТЮРА . . . .	0059
Глава седьмая СВОЯ РУКА — ВЛАДЫКА . . . . .	0069
Глава восьмая СОКОЛ С МИРТОВОЙ И ГОЛУБЬ С МАСЛИЧНОЙ ВЕТКОЙ . . . . .	0085
Глава девятая ЧАШКА ЧАЮ У ЦЕСАРЕВНЫ .	0097
Глава десятая ГРОШ ЗА ЧЕЛОВЕКА . . . . .	0116
Глава одиннадцатая У СТАРИКА-ВОЗНИЧЕГО БРАЗДЫ УСКОЛЬЗАЮТ ИЗ РУК . . . . .	0123
Глава двенадцатая ОСТЕРМАНОВЩИНА . . . .	0134
Глава тринадцатая СКАЗКА О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ . . . . .	0151
Глава четырнадцатая ГЛАВА ИЗ РЫЦАРСКОГО РОМАНА . . . . .	0159
Глава пятнадцатая В ОБРУЧИ И В ГОРЕЛКИ .	0176
Глава шестнадцатая ДОИГРАЛАСЬ! . . . . .	0184
Глава семнадцатая ЕЩЕ ОДИН РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА, НО НЕ БЕЗ УПРЕКА . . . . .	0191
Глава восемнадцатая КАБЫ ВОЛЯ! . . . . .	0199

Глава девятнадцатая ДИПЛОМАТИЯ . . . . .	0212
Глава двадцатая ПРИЗРАК ЛИНАРОВЩИНЫ	0225
Глава двадцать первая ЧЕТА ЛОМОНОСОВЫХ . . . . .	0237
Глава двадцать вторая ОТ РЫБАЧЬЕЙ ХИЖИНЫ ДО ХРАМА НАУК . . . . .	0244
Глава двадцать третья В ЧЕМ СЧАСТЬЕ . . . . .	0260
Глава двадцать четвертая ГЕРОЙ РЫЦАРСКОГО РОМАНА СХОДИТ СО СЦЕНЫ . . . . .	0271
Глава двадцать пятая СЛОНЫ ПЕРСИДСКОГО ШАХА . . . . .	0279
Глава двадцать шестая ЧЕТЫРЕ МАНИФЕСТА . . . . .	0289
Глава двадцать седьмая ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ . . . . .	0298
Глава двадцать восьмая ПЕРЕВОРОТ 25 НОЯБРЯ 1741 ГОДА . . . . .	0311
Глава двадцать девятая ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА . . . . .	0325
Глава тридцатая БОЛЬ ВРАЧА ИЩЕТ . . . . .	0333
Глава тридцать первая "НУ, ПОДУМАЙТЕ!" .	0342
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .	0357

# Глава первая РЕГЕНТ БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Скончалась императрица Анна Иоанновна в своем петербургском Летнем дворце, оттуда же должно было последовать и ее погребение. На другое утро по ее кончине, 18 октября 1740 года, младенец-император Иоанн Антонович был перевезен в Зимний дворец, вместе с ним переселились туда и его молодые родители — принцесса Анна Леопольдовна и принц Антон-Ульрих. Регент, герцог Бирон, еще накануне заявил, что сам он не покинет Летнего дворца, пока тело незабвенной монархини находится еще там и не предано земле.

По этому поводу обер-гофмаршал граф Левенвольде счел нужным еще раз переговорить с регентом. Когда дежурный паж пригласил его в герцогский кабинет, Бирон сидел еще за утренним кофе в своем светло-голубом шлафроке с оранжевыми лацканами и обшлагами. Он вообще любил яркие цвета, а го-

лубой и оранжевый были к тому же цвета родной его Курляндии.

"А черная одежда была бы теперь все же пристойнее", — подумал про себя гофмаршал, и ему невольно вспомнилось известное острословие: "Для чего наружные знаки печали? Была бы душа черна!".

Но он поспешил отогнать от себя нечестивую мысль и с почтительностью прикоснулся к протянутой ему руке. Пожелав регенту доброго утра, он осведомился, не переменил ли его светлость своего вчерашнего намерения пробыть здесь, в Летнем дворце, до похорон.

— Что мною раз решено, — был ответ, — то отменено быть не может.

— Я и не посмел бы понапрасну беспокоить вашу светлость, — заметил Левенвольде, — если бы не обычай русского народа поклоняться праху царствующих особ, а по наведенной справке тело усопшей особы выставляется публично в течение не менее шести недель.

— Дабы всякий желающий мог исполнить свой христианский долг? Вполне одобряю. И мы назначим для сего не шесть, а целых де-

сять недель! На какой день придутся тогда похороны?

Обер-гофмаршал подошел к висевшему над столом стенному календарю и стал рассчитывать.

— Ну? — спросил Бирон.

— Придутся они на двадцать шестое декабря, то есть на второй день Рождества, но тогда ведь не хоронят...

— Гм... Так, скажем: двадцать третье декабря, дабы на другой день в рождественский сочельник вся Россия могла единодушно вознести свои молитвы за упокой души обожаемой царицы.

— Слушаю-с. А до тех пор ваша светлость так и не выедете отсюда?

— Ни я, ни мое семейство. Здесь же будет собираться и особая комиссия для разработки формы придворного траура и всего церемониала погребения. Вы, Левенвольде, составьте мне нынче же к вечеру список членов комиссии, а также подробную справку о тех милостях, которые прежде даровались народу при перемене правления.

— Ваша светлость все ведь предусматри-

те! — почел долгом умилиться обер-гофмаршал. — Народ будет благословлять вашу доброту...

— Эх, милый мой! К чему эти фразы? Мы оба прекрасно знаем, что русский народ нас, немцев, терпеть не может.

— Простите, герцог, не всех немцев. Фельд-маршала Миниха, например, вся армия очень любит...

Бирон досадливо поморщился.

— Ну, так нас, курляндцев! — поправился он. — Народ цепной ведь пес, который рычит на всякого пришельца. Вот мы и бросим ему кость.

— Смею заметить, что против вашей светлости настроен не один только простой народ, но и многие из высших слоев общества до сенаторов и самой принцессы Анны включительно.

— Мы никого не обойдем, а принцессу да и цесаревну благодетельствуем теперь же.

Герцог позвонил в колокольчик. На пороге вырос саженный камердинер-курляндец.

— Что угодно вашей светлости?

— Одеваться!



Первый выезд Бирона был в Зимний дворец к молодой матери государя. С отменной, невиданной еще любезностью он возвестил ей, что определил ей годового содержания 200 тысяч рублей, а когда принцесса попросила еще назначить к ее особе гофмейстера, он выбрал для должности камергера при ее сыночке молодого графа Миниха, к которому очень благоволила как сама принцесса, так и ее гоф-фрейлина и первая фаворитка Юлиана Менгден, свояченица Миниха.

После этого герцог поехал к главе русской партии цесаревне Елизавете Петровне, чтобы обрадовать и ее назначением ей дополнительного годового оклада в 50 тысяч рублей. Но цесаревна его не приняла, и ему ничего не оставалось, как затаить до времени свою злобу и ехать дальше. Он велел кучеру везти себя в сенат.

Господам сенаторам он объявил, что желает поднять значение правительствующего сената и впредь часто будет посещать их заседания. Польщенные сенаторы, в свою очередь, определили ему тут же 500 тысяч на собственные расходы и вместо титула «светло-

сти» предложили ему именоваться "императорским высочеством". Бирон, однако, показал столько такта, что удовольствовался титулом «высочества», причем выговорил тот же титул и родителю государя, принцу Антону-Ульриху. Но вместе с тем он дал знать в сенатскую типографию, что высочайший указ о его собственном титуле должен быть напечатан во всеобщее сведение на другой же день, 19 октября, указ о титуле принца и денежных пожалованиях принцессе и цесаревне — только несколько дней спустя.

Каждый день затем приносил доказательства благодушия регента: многие ссыльные получили разрешение вернуться в Петербург с возвращением им и чинов, кому был сокращен срок заключения, кто и вовсе избавлен от наказания. Особым манифестом было предписано строго соблюдать законы, чинить суд правый и беспристрастный, во всем повсюду равный, без богоненавистного лицемерия и проклятых корыстей. Часовых, мерзнувших до сих пор в зимнюю пору в своих подбитых ветром епанчах, было велено снабдить шубами, а для уменьшения придворной

роскоши, виновником которой выставляли до тех пор самого Бирона, последовало воспреещение носить кому бы то ни было платье дороже четырех рублей аршин.

Не забыл герцог, наконец, и своего преданного слуги, секретаря Де-сиянс академии, Василия Кирилловича ТрEDIAKовскаго. Указом сената от 1 ноября 1740 года было постановлено: "Ему, ТрEDIAKовскому, за бесчестье и увечье его Артемием Волынским награждение выдать из взятых за проданные его, Волынского, пожитки и имеющих в рентерее денег 360 рублей".

Все недовольные были, казалось, ублажены, наступила тишь и гладь и Божья благодать.

Доверчивее многих других была простодушная и до слабости мягкосердная Анна Леопольдовна. Особенно тронула ее оговорка в подписанном покойной императрицей манифесте о престолонаследии, что "ежели Божеским соизволением оный любезный наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и не оставя по себе наследников, преставится, то в таком случае

определяем и назначаем в наследники первого по нему принца, брата его, от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества благоверной государыни принцессы Анны, от светлейшего принца Антона-Ульриха, герцога брауншвейг-люнебургского рожденного, а в случае и его преставления, других законных из того же супружества рожденных принцев всегда первого".

— Без согласия Бирона этого не было бы сказано, — говорила она. — Стало быть, он и не думает вовсе устранить меня и моих детей... Я могу быть спокойна.

И она успокоилась. Первые дни, правда, горечь ее по любимой тетушке была как бы безутешна, и на совершаемых ежедневно в придворной церкви панихидах из глаз ее текли обильные слезы. Но источник слез у нее, как это бывает у неглубоких натур, довольно скоро иссяк. Да к тому же надо было позаботиться ведь о трауре! Заседавшая в Летнем дворце, где оставалось еще тело почившей императрицы, печальная комиссия назначила траур на целый год с распределением на четыре квартала. Чтобы комиссия как-нибудь

не напутала насчет нарядов, принцесса нарочно откомандировала туда своего нового гофмейстера Миниха-сына с подробной инструкцией. Сообразно последней, было выработано описание траурного одеяния как самой принцессы, так и цесаревны Елизаветы Петровны.

Интересовал Анну Леопольдовну, понятно, и печальный наряд покойной государыни: серебряной парчи шлафор и такая же роба, украшенная серебряным шнуром и широкими большими лентами, белые лайковые башмаки с белыми и желтыми лентами и пунцового бархата одеяло с золотым позументом. Пышному наряду отвечала и вся обстановка царицыной опочивальни и прилегавшего к ней малого зала: стены были обиты малиновой материей, а пол зеленым сукном, тогда как в остальных помещениях стены, потолки, полы, печи, а также зеркала и мебель были затянуты черным сукном.

— Тетушка не выносила черного цвета, — говорила принцесса. — Так пускай же и теперь вокруг нее не будет ничего мрачного.

Своим собственным глубоким трауром,

впрочем, принцесса была довольна.

— Граф Линар тоже ведь находил, что черный цвет мне очень к лицу, — заметила она своим двум фавориткам фрейлине Юлиане Менгден и камер-юнгфере Лили Врангель, когда на третий или четвертый день при их помощи облекалась опять в траур.

— А ваше высочество все еще не забыли своего рыцаря? — сказала Юлиана. — Пора бы, кажется.

— И никогда не забуду! Это единственный светлый луч в моей тусклой жизни.

— Но у вас есть теперь и муж, и сын...

— Что ж из того? Мои отношения к Линару так же чисты, как в средние века были отношения между рыцарями и дамами их сердца. У меня одно только желание, чтобы его назначили опять посланником к нам в Петербург!

В это время послышался легкий стук в дверь и голос пажа:

— Письмо из-за границы!

Анна Леопольдовна схватилась за сердце.

— Это от него! Я это чувствовала... Войди!

Вошедший паж с низким поклоном подал

ей запечатанный конверт. Принцесса дрожащими пальцами вскрыла и развернула письмо. На оживленном лице ее выразилось полное разочарование.

— Из Мекленбурга от отца!

— Отец ваш, верно, прослышал тоже про смертельную болезнь государыни, — заметила Юлиана. — Уж не хочет ли он приехать в Петербург?

— Он ожидает только официального приглашения.

— Бога ради, принцесса, не зовите его сюда! При своем неуживчивом характере он наверное повздорит с Бироном, и тогда все пойдет вверх дном.

— Ты думаешь?.. Чего ты тут ждешь? — обратилась Анна Леопольдовна к стоявшему еще на месте пажу.

— У меня еще письмо к баронессе Врангель, — отвечал паж, поглядывая в нерешительности поочередно то на молоденькую камер-юнгферу, то на молодую фрейлину.

— Дайте-ка сюда, — сказала фрейлина, отнимая у него письмо.

— Да ведь оно не к тебе, Юлиана, а к Ли-

ли? — вступилась принцесса.

— Но я отвечаю за нее перед вашим высочеством.

— Все равно. Чужих писем, милая, не читают. Отдай ей его сейчас, она нам уже скажет, от кого оно.

— Право, не знаю, кто мог бы мне писать? — недоумевая, отозвалась Лили и, распечатав письмо, стала его читать.

Вдруг хорошенькое лицо ее до ушей залило горячим румянцем.

— Вот видите, принцесса! — воскликнула Юлиана. — От кого письмо, Лили? — говори.

— От моей лифляндской кузины Мизи Врангель.

— Неправда! Зачем же ты так покраснела?

— Божусь вам, что от нее.

— А не от Самсонова?

— От какого Самсонова? — спросила Анна Леопольдовна.

— Да от молочного брата ее покойной сестры Дези. Покажи-ка.

— Подпись, извольте, я вам покажу, — сказала Лили и, накрыв ладонью самый текст письма, оставила на виду одну лишь подпись.



— "Deine dich liebende Cousine Misi Wrangel", [1] - прочитала Юлиана. — Гм... верно. Но что она тебе пишет?

— Оставь ее, Юлиана! — вмешалась опять принцесса. — Ты все забываешь, что она уже не ребенок, что ей шестнадцать лет.

— На Рождестве, ваше высочество, будет семнадцать, — поправила Лили.

— Тем более. У всякой ведь из нас есть в сердце свой потайной уголок, куда без спросу никто не допускается. А кухня твоя, верно, твоих же лет, Лили?

— Одним годом меня старше.

— Всего-то? Ну, так что же может быть в ее письме, кроме милых глупостей? Но ты еще не дочитала?

— Не успела, ваше высочество...

— Так ступай же к себе и дочитай, да никому, чур, не показывай! — со снисходительной улыбкой добавила принцесса.

## Глава вторая

# ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Удалившись в свою комнату, Лили первым делом замкнула дверь на ключ, потом расположилась удобнее на угловом диванчике, поджав под себя ноги, и тогда уже принялась опять за письмо кузины с самого начала. Письмо было написано, разумеется, по-немецки, в переводе же на русский язык содержание его было такое:

*"Милая Лили!*

*Ясно вижу отсюда, как твои большие незабудковые глаза от удивления еще вдвое расширились; что нужно ей вдруг, этой несносной Мизи, у которой в ответ на все письма за целую вечность не нашлось ни строчки?*

*Не стану уверять, что у меня были какие-нибудь важные занятия, что во мне неожиданно проснулась совесть, заговорили родственные чувства и тому подобный вздор. Приступаю прямо к делу.*

*Ты, вероятно, еще помнишь, что с нашим именем граничит имение Мини-*

хов — Ранцен. Когда года два назад сын фельдмаршала женился на баронессе Анне-Доротее Менгден (сестра ее Юлиана ведь гоффриейлиной у твоей принцессы Анны?), старик-фельдмаршал, по брачному контракту, закрепил Ранцен за своим сыном. Этим-то имением издавна заведует дальний родственник нашего управляющего Люти. Годами Лютиц не так еще стар, но давно уже страдает ревматизмом ног, а прошлую зиму по неделям не вставал с постели. Сельское хозяйство он и до сих пор ведет образцово, но, хворая, не имеет уже возможности лично наблюдать за работами. Так вот, на подмогу ему был прислан из Петербурга волонтер.

Все это, скажешь ты, в порядке вещей, но что за дело твоей кухне, родовой баронессе, до какого-то волонтера, безродного Кунца или Гинца?

Верно, но то-то и есть: точно ли это безродный Кунци или Гинци?

Ты знаешь, как у нас в провинции всякое новое лицо, чем-либо выдающееся из общей серой массы, делается предметом бесконечных сплетен и пересу-

дов. Этот волонтер, называющий себя Григорием Тамбовским, заставил также говорить о себе не потому, чтобы он допустил себе какие-нибудь выходки дурного тона, о, нет! Ведет он себя совсем благоприлично. Но его окружает какой-то непроницаемый туман. О его прошлом никому, даже прямому его начальнику, Лютицу, ничего не известно. По крайней мере, сам Лютиц, говорил так нашему управляющему, который ему не только родня, но и добрый приятель. Домашним своим и работникам Лютиц внушил строго-настрого отнюдь не беспокоить г-на Тамбовского какими бы то ни было расспросами. Очевидно, на этот счет Лютицу дана строгая инструкция из Петербурга. Так с полгода уж по нашему мирному краю разгуливает ко всеобщему соблазну какой-то загадочный сфинкс.

Своим образом жизни, впрочем, он ничем не отличается от всякого усердного рабочего: с солнечного восхода он уже в поле, весной сам ходил также за сохой, летом брался за косу, за серп, за цепи, не на целый день, а так, на час,

на другой, не то для моциона, не то для надзора за рабочими. Вернется домой — и тотчас на конский завод, на конюшню, на скотный двор. А кончат свое дело другие, он сам не думает еще об отдыхе, засиживается до полночи за конторской работой и книгами. Временами ездит и в уездный город заключить продажу или контракт. Лютиц им просто не нахвалится: молодому человеку двадцать лет, не больше, а на диво, дескать, толковый, рассудительный, принимает к сведению всякое наставление, если же раз возразит, то так метко, что поневоле согласишься, неизменно вежлив и приветлив, но без раболепного искательства. С крепостными и с батраками он, пожалуй, чересчур даже кроток: обращается как равный с равными, никого еще, кажется, не побил, почти никогда не возвышает голоса и только лентяям не дает потачки. Говорит он с людьми, представь себе, уже по-эстонски: изумительная способность к языкам! Но по происхождению он, несомненно, русский: по-немецки хотя и объясняется довольно свободно, но

акцент и обороты речи у него явно русские.

Все это, конечно, не давало бы ему еще права на внимание у наших дворян: попадаютса ведь и среди плебеев порядочные люди. Интригует всех главным образом перстень на указательном пальце его правой руки. Откуда у простого волонтера мог взяться такой драгоценный перстень: с огромным рубином и с бриллиантовыми вокруг розетками? Мы нарочно поручили нашему управляющему выпытать у него историю этого перстня. И что же ты думаешь? Когда тот неожиданно поставил ему вопрос, не подарок ли это высокопоставленного лица, он видимо замялся:

— Да, подарок...

— Но с таким чудным рубином, точно кровь! А кстати, о крови высокопоставленных лиц, — прибавил управляющий. — Слышали вы, что вашему первому кабинет-министру Волынскому, по повелению царицы, отрубили голову?

Молодой человек как смерть побледнел, сорвал с пальца перстень и хотел

уже, казалось, бросить его, но вдруг все-таки одумался и положил в карман. С тех пор никто уже не видел на руке у него перстня.

Какое же отношение имеет тот перстень к казенному кабинет-министру? И кто он сам, этот таинственный незнакомец? Не опальный ли аристократ?

После всего этого ты поймешь, конечно, что и мне хотелось взглянуть раз на него. Я попросила отца пригласить его к нам, как знатока лошадей. Отец написал ему записку. Он не заставил себя ждать и приехал к нам на другой же день. Когда отец прошел с ним на конюшню, я вошла туда же. Отец представил нас друг другу. Он чинно мне поклонился, но когда поднял голову и взглянул на меня, то вдруг покраснел и сейчас же заговорил с отцом о лошадях. Говорил он дельно и умно, как старый коневод, но избегал глядеть на меня, а в то же время украдкой все-таки посматривал в мою сторону, точно сравнивая меня с кем-то. Тут мне вспомнилось, что между нами с тобой есть большое фамильное

сходство.

— Скажите, господин Тамбовский, — спросила я его. — Вы ведь прямо из Петербурга?

Отрицать этого он не мог и отвечал:

— Да, из Петербурга.

— И бывали при дворе?

Он опять как будто смешался.

— При дворе?.. — повторил он. — Я не из придворного круга.

— Однако же все-таки встречали, быть может, мою кузину Лили Врангель?

Все лицо его как огнем охватило.

— Н-нет... то есть я имел как-то случай видеть вашу кузину, но с нею не знаком... Простите, господин барон, — обратился он к моему отцу. — Я отлучился из Ранцена на самое короткое время, там меня ждут...

Отец его не удерживал.

Ты, Лили, пожалуйста, не думай, что я им серьезно заинтересовалась, ай, нет! Собой он хоть и недурен, но русского типа, и поэтому уже не может идти в сравнение с нашими баронами. Интересует меня только вопрос: зачем он скрывает свое знакомство с тобой? И



я решила искать новой встречи с ним, чтобы проникнуть в эту тайну, понимаешь, только для этого, ни для чего иного!

От нас до границ Ранцена, как ты знаешь, всего три версты. После твоего отъезда я редко уже ездила верхом: одной ездить скучно. Теперь же я велела седлать себе Стеллу каждый день и проезжала большой дорогой по владениям Миниха, а иногда и мимо самого замка. Так я почти всякий раз видела Тамбовского (обыкновенно также верхом) то там, то сям, в поле или около надворных построек среди рабочих. Но он меня как будто нарочно не замечал.

Однажды (то было уже в августе) у моей Стеллы ослабла подпруга. Я крикнула ранценским мужикам, чтобы кто-нибудь помог мне подтянуть ремень. На этот раз Тамбовский не мог уже сделать вид, что меня не слышал. Он пустил свою лошадь в карьер, перелетел через ров, через плетень и был уже у меня. Такого ловкого всадника я, признаюсь, никогда еще не видела. Пока он подтягивал подпругу, я

ему заметила, что у меня никогда не хватило бы духу перескакивать через рвы и плетни.

— Всякое начало, баронесса, трудно, — сказал он. — Для меня, например, было вначале также непривычно пахать землю, косить траву...

— Но для чего вы это вообще делаете? — спросила я и взглянула при этом на его руки: они у него загорели от солнца, но были чисты, ногти опрятны, как у дворянина, а на указательном пальце правой руки белела светлая полоска от снятого перстня.

— Да ведь должен же я уметь делать все то, что делают рабочие, — отвечал он. — Теперь я сам могу всякого обучить его делу.

— Так вы думаете, что и я тоже научилась бы брать препятствия?

— Без сомнения.

— Но мы со Стеллой моей обе такие трусихи... Вот если бы вы показали нам, как это делать...

Он не мог уже, конечно, отказаться. — С удовольствием, — сказал он. — Вы, баронесса, только не отставайте от меня.

И вот мы поскакали рядом. Представь себе, Стелла, в самом деле, перенесла меня через ров! Взять плетень я, однако, еще не решилась.

— Ну, как-нибудь в другой раз, — сказал он.

И так-то, чтобы научиться этому, я на другой день съехала с ним снова, а потом еще... Не стану распространяться. Встречаясь, мы, разумеется, не молчали, говорили о том, о другом, а всего больше о Петербурге. Весь придворный круг, оказывается, он знает как свои пять пальцев, но ни о себе самом, ни о тебе ни слова. Когда же я сама упоминала о тебе, он тотчас переводил речь на что-нибудь другое.

С сентября полевые работы кончились, а с ними сами собой прекратились и наши верховые прогулки. Скоро уже месяц, что я его не видела, и не то что скучаю по нем, а так будто чего-то мне недостает. Знай я наверное, что в жилах его течет синяя кровь, можно было бы пригласить его бывать у нас в доме; если же он из простых, то я о нем, понятно, больше и думать не стану.

Так вот, милая Лили, моя просьба: напиши мне все, что тебе известно про этого Григория Тамбовского (или как бы он там ни назывался), а также что у тебя вышло с ним? Описывать его тебе едва ли нужно, но, чтобы не было никаких уже недоразумений, дам тебе его портрет: ростом он выше среднего, строен и гибок, волосы у него темно-русые и курчавые, глаза серые, но смотрят необыкновенно ясно и приветливо, а уж улыбка!.. Чтобы слишком тебя не раздражить, лучше не дописываю. Прибавлю только, что у него привычка пощипывать, покручивать свои усики, которые, признаться, ему очень к лицу.

Итак, я жду твоего ответа с первой же почтой. Если ты мне не сейчас ответишь, то я тебе этого никогда не прощу, слышишь — никогда!

Твоя тебя любящая кузина  
Лизи Врангель".

Читая это письмо, Лили несколько раз менялась в лице, кусала до крови губы. Дочитав до конца, она в сердцах смяла письмо в комок и бросила на пол. Но, немного погодя, подня-

ла его опять с полу, тщательно разгладила и стала перечитывать. Результатом был следующий ответ:

*"Милая Мизи!*

*Кто твой таинственный незнакомец, я хоть и догадываюсь, но открыть тебе не смею, так как сам он того, по-видимому, не желает. Могу сказать тебе разве одно, что в жилах его нет ни капельки синей крови и что удален он отсюда сроком на один год. Но так как новый наш регент, в числе разных милостей, сократил также многим ссыльным срок наказания, то к возвращению твоего незнакомца теперь же в Петербург едва ли есть препятствия. Если ты хочешь сделать ему приятность, то, может быть, дашь ему знать об этом.*

*Твоя тебя любящая кузина  
Лили Врангель".*

# Глава третья

## РЕГЕНТ БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ

Недолго продолжалось благодушное настроение Бирона. Во всех гвардейских полках у него были свои «уши», руководимые главным шпионом, майором Альбрехтом, они аккуратно доносили о каждом подслушанном ими неосторожном слове гвардейцев. Всего решительнее высказывался поручик Преображенского полка Ханьков:

— Для чего министры управление империей поручили герцогу курляндскому помимо родителей императора? Лучше бы до возраста государева управлять его отцу или матери. Регентово намерение, сказывают его служители, ко всем милость показать, а к нам в Преображенский полк все рослых людей из курляндцев набирают, чтобы полку-де оттого красота была, и немцами нас, русских всех, того гляди, из полка вытеснят. Учинить бы тревогу барабанным боем: вся гренадерская рота пошла бы за мною, пристали бы к нам и другие солдаты, и убрали бы мы регента и его

сообщников.

Ханыкову поддакивали некоторые товарищи, а на шестой день регентства Бирона, 23 октября, все они были уже арестованы и подвергнуты допросу, сперва обыкновенному, а потом и пристрастному.

На следующий день в "Сенатских ведомостях" был опубликован от имени младенца-императора указ о ежегодных выдачах его родителям и цесаревне Елизавете. Но цесаревна не приняла подачи регента в 50 тысяч и велела сказать ему, что довольна уже тем, что ей раньше назначено по милости покойной царицы, грабить малолетнего царя она не желает.

Легко себе представить, как такой резкий ответ должен был взбесить высокомерного Бирона.

А тут к нему поступили еще доносы на принца Антона-Ульриха, который, по словам секретаря конторы принцессы Анны, Семенова, сомневается будто бы в подлинности указа усопшей императрицы о регентстве, посылает своего адъютанта Граматина с тайными поручениями к посланнику брауншвейгско-

му Кейзерлингу и намерен сам захватить власть. Семенов, Граматин и некоторые близкие им лица были тотчас также взяты и отсланы для допроса в тайную канцелярию розыскных дел. Сам же Бирон отправился к принцу и со свойственной ему грубостью наговорил ему разных дерзостей. Когда же вспыхивший Антон-Ульрих схватился невольно за рукоятку шпаги, герцог брякнул своей собственной шпагой и крикнул:

— Вам угодно, принц, чтобы я разделался с вами этим путем? Извольте!

Принц оторопел.

— Да я вовсе и не думал...

— То-то, что вы ни о чем, кажется, не думаете! Вы, может быть, рассчитываете на свой Семеновский полк? Напрасно. Если русские не очень-то любят меня, курляндца, то вас, иноземца, они знать не хотят. А принцесса сама называет всех русских канальями. Так чего же вы оба хотите, чего добиваетесь? Чтобы я вызвал из Голштинии молодого принца Петра?[2] Он родной внук царя Петра I, и русский народ примет его с восторгом.

— Ниче-че-го я не хочу-чу-чу... — оконча-



тельно опешил бедный заика-принц.

Не успел он еще прийти в себя, как его пригласили в чрезвычайное собрание кабинет-министров, сенаторов и генералитета. Оказалось, что он предстал в качестве обвиняемого перед верховным судилищем. Бирон изложил собранию все показания, выпитанные у арестованных в тайной канцелярии, а в заключение поставил Антону-Ульриху прямой вопрос:

— Ваше высочество не станете теперь, я надеюсь, отпираться, что у вас была тайная цель — изменить постановление о регентстве?

Растерявшийся принц, глотая слезы, залепетал что-то невнятное.

— Да или нет? — переспросил его регент.

— Да...

— Вы хотели произвести бунт и завладеть регентством?

Антон-Ульрих в ответ только всхлипнул.

— Извольте видеть, милостивые государи? — обратился Бирон к собранию, театрально разводя руками.

Тут поднялся с места генерал Ушаков, на-

чальник тайной канцелярии, или, как его называли в народе, "заплечный мастер", и заговорил менторским тоном:

— Если вы, принц, будете вести себя так, как приличествует отцу царствующего императора, то вас и будут почитать таковым, в противном же случае с вами будут обращаться как с другими нарушителями законов. По свойственному молодости тщеславию и неопытности, вы дали обмануть себя, но буде вам удалось бы исполнить ваши преступные ковы и произвести алярм,[3] я вынужден был бы с крайним прискорбием обойтись с вами столь же строго, как с последним подданным его величества.

За "заплечным мастером" выступил снова герцог.

— Вот подлинная декларация незабвенной нашей царицы Анны Иоанновны о регентстве, — указал он на лежавший на столе перед ним пергаментный лист и повторил содержание декларации, дополняя ее своими комментариями. — Так как я имею право отказаться от регентства, то пусть настоящее собрание сочтет ваше высочество к оному более

меня способным, я в сей же момент передам вам правление.

— Помилуйте, герцог! Продолжайте, пожалуйста, править для блага России! — раздались кругом голоса.

— Просим, просим! — подхватили остальные.

Благосклонным наклоном головы поблагодарив собрание за высокое доверие, Бирон взял со стола пергаментный лист и показал его первому кабинет-министру, графу Остерману:

— Позвольте спросить ваше сиятельство: та ли самая эта декларация о регентстве, которую вы подносили к подписи покойной государыне?

— Та самая, — подтвердил Остерман.

— И никто за сим из вас, милостивые государи, в подлинности оной уже не сомневается?

— Никто, никто! — отвечал дружный хор голосов.

— Если так, то я покорнейше просил бы все почтенное собрание скрепить сей документ своими подписями и печатями.

Все присутствующие члены верховного судилища, по старшинству, приложили к документу и руку, и печати. Тогда Бирон подал перо и Антону-Ульриху:

— Не угодно ли и вашему высочеству поставить здесь ваше имя?

Всякое возражение было бы принято за новый протест, и принц, не прекословя, расчеркнулся. Но, возвратясь во дворец, он тотчас же прошел к своей супруге и излил перед ней и ее двумя фаворитками всю накипевшую у него на сердце горечь.

— И вы, принц, поверили тоже и подписались! — воскликнула Юлиана.

— Он подпишет свой собственный приговор, лишь бы не перечить Бирону! — не утерпела со своей стороны заметить и Анна Леопольдовна.

Предсказание ее, если и не буквально, то в переносном смысле, оправдалось. Несколько дней спустя Антону-Ульриху было предложено подписать такого содержания просьбу к его собственному сыну:

"Всепресветлейший, державнейший великий государь-император и самодержец все-

российский, государь всемилостивейший!

По всемилостивейшему ее императорского величества блаженные и вечнодостоинные памяти определению пожалован я от ее императорского величества в чины — подполковника при лейб-гвардии Семеновского полка, генерал-лейтенанта от армии и одного кирасирского полка полковника.

А понеже я ныне, по вступлении Вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при Вашем императорском величестве всегда неотлучным быть, того ради Ваше императорское величество всенижайше прошу, на оное всемилостивейше соизволяя, от всех тех донныне имевшихся чинов меня уволить и Вашего императорского величества указы о том, куда надлежит, послать, также и всемилостивейше определение учинить, чтобы порозжие через то места и команды паки достойными особами дополнены были.

Вашего императорского величества нижайший раб Антон-Ульрих".

В удовлетворение такой просьбы, 1 ноября

последовал высочайший указ, подписанный, от имени императора, "Иоганном регентом и герцогом".

Между тем стали ходить упорные слухи о том, будто бы старшего сына своего, Петра, регент намерен женить на цесаревне Елизавете, а свою дочь выдать замуж за герцога голштинского Петра, чтобы таким образом обезопасить себя от двух этих претендентов на русский престол. Толковали еще, будто бы ко дню рождения герцога, 13 ноября, из Москвы прибудет командовавший там войсками брат его, и как брат, так и зять герцога, генерал Бисмарк, будут произведены в фельдмаршалы. Фельдмаршал же Миних, первый министр Остерман и несколько других, не в меру влиятельных лиц, будут арестованы. Говорили, наконец, что принца и принцессу Бирон замышляет вовсе услатить из России, чтобы они не могли уже вмешиваться в его регентство от имени их сына.

# Глава четвертая ПРЕЛЮДИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВАНТЮРЕ

Так наступило 7 ноября. Молоденькая камер-юнгфера и любимица принцессы, баронесса Лили Врангель, понятно, разделяла тревоги своей августейшей покровительницы. Но беспокоило ее столько же, если еще не более, свое личное дело: будет ли иметь какое-либо последствие ее ответ кузине Мизи Врангель относительно Гриши Самсонова, который какими-то судьбами очутился в Лифляндии и зачем-то переименовался в Григория Тамбовского. Правда, что сама она ведь, в сердцах за его безумную дерзость, запретила ему показываться ей на глаза в течение целого года. Вот он и убрался вон, даже не простившись... Вернется ли он теперь или не вернется?

Так волновалась она, когда внезапно ее вызвали в приемную, где ее желал бы видеть мужик из деревни.

— Мужик? — переспросила она, недоумевая. — Из какой деревни?

— А из Лифляндии от ваших родных.

Лили чувствовала, как она побледнела и как сердце в груди у нее екнуло.

"Верно, от Гриши! Или, пожалуй, с новым письмом от Мизи".

С трудом подавляя свое волнение, она отправилась в приемную. Там не оказалось никого, кроме приезжего.

То был действительно мужик в нагольном тулупе с густой русой бородой, и поздоровался он с нею по-эстонски:

— Terre, terre, prälen! (Здорово, барышня!)

Голос как будто знакомый, да и вся фигура и оклад лица, но эта бородаща... Она спросила на том же языке, от кого он прислан. Вместо ответа мужик рассмеялся, обнажив при этом ряд своих белых и ровных, словно выточенных из слоновой кости, зубов. Тут у нее не осталось уже никакого сомнения, что это он же, друг ее детства.

— Так это все-таки ты сам, Гриша! — пробормотала она, вся радостно зардевшись. — Но как ты оброс!



Опасливо оглядевшись по сторонам, он снял свою приставную бороду. Только над верхней губой у него чернели его собственные усики, придававшие его загорелому юношескому лицу некоторую возмужалость.

— Этак, Лизавета Романовна, я, может, больше на себя похож?

— Теперь-то ты опять самим собой стал.

— А вы совсем уже другие: настоящей придворной фрейлиной стали. Да как похорошели!

Лили насупилась.

— Не говори глупостей! Расскажи-ка лучше, как ты от Волынского попал к молодому Миниху в Лифляндию?

При имени покойного первого кабинет-министра, незаслуженно погибшего такой позорной смертью, ясные черты юноши омрачились.

— Я сейчас только с могилы Артемия Петровича, — проговорил он со вздохом. — Упокой Господь его душу!.. Когда его арестовали, он дал мне на прощанье записку к фельдмаршалу графу Миниху. Чтобы меня здесь не хватились, молодой граф услал меня тотчас в

свою вотчину Ранцен...

— Так тебя могут и теперь взять к допросу в тайную канцелярию, как других людей Волынского!

— Могут каждую минуту, очень просто. Вот потому-то я и купил себе дорогою в Нарве у брадобрея эту фальшивую бороду.

— Так надень же ее поскорей, надень! Неравно тебя кто-нибудь здесь еще узнает... А молодой граф не очень осерчал, когда ты вернулся в Петербург без спросу?

— Не то чтобы осерчал, а испугался: из-за меня ведь и ему может не поздоровиться от Бирона.

— Но что ты сказал ему, чтобы оправдаться?

— Да ведь осенние работы в Ранцене все справлены. Лютц, старик-управляющий, до весны легко может обойтись без меня. Вот я и испросил себе у старика отпуск, чтобы лично, мол, доложить графу обо всем, что сделано там за лето и что следовало бы сделать будущим летом.

Говоря так, Самсонов привязал себе опять фальшивую бороду. При этом Лили имела

случай проверить то, о чем ей писала кузина ее Мизи: что руки и ногти у него вполне опрятны и что на указательном пальце у него нет уже драгоценного рубинового перстня с бриллиантами, который был пожалован ему царицей Анной Иоанновной во время свадьбы карликов.

— А куда ты, Гриша, дел свой перстень? — не утерпела спросить Лили.

— Носить его я все равно не стал бы после того, как он, можно сказать, обагрился неповинной кровью Волынского, — отвечал Самсонов.

— Но что же ты сделал с ним? Подарил кому-нибудь?

— Нет, продал сегодня бриллиантщику Позье.

— Продал! Но ведь деньги за него тоже кровавые?

— Я их и не оставил себе, а отдал все до копейки священнику церкви Самсония на вечное поминовение души раба божия Артемия...

И бывший слуга казенного первого кабинет-министра отвернулся, чтобы украдкой

отереть с ресниц непрошеную слезу.

— Ты очень, знать, любил Вольнского? — сочувственно заметила Лили.

— И не говорите! Что-то без него станется с нашей бедной Россией!

— Да и с нами со всеми!

— Ну, вам-то, Лизавета Романовна, и горя мало: вы состоите при самой принцессе.

— Да ведь Бирон злобится на принцессу, а того более на принца, и грозил уже услать обоих домой в Брауншвейг. На будущей неделе — день его рождения, и ожидают, что он выпустит еще какой-нибудь манифест, чтобы самому совсем укрепиться. Того гляди, что всех нас тоже арестуют...

— Так чего же вы еще медлите? Ведь вся гвардия его ненавидит. Арестуйте его самого и спровадьте куда-нибудь на край света.

— Так вот его и арестуешь! Двумя гвардейскими полками командуют его близкие родные: Конным полком — его старший сын Петр, а Измайловским — родной брат Густав Бирон.

— Поговорить бы принцессе насчет этого с фельдмаршалом Минихом...

— А тот ее, ты думаешь, не выдаст?

— Помилуйте! А уж войска за него в огонь и в воду. Кто вел их в туретчину? Миних. Кто день и ночь пекся о том, чтобы им жилось тепло и сытно? Миних. Родом он хоть и из немцев, но душа у него, как вот у вас, русская.

Слова товарища детства произвели на молодую девушку глубокое впечатление.

— Да кто надоумит принцессу?.. — проговорила она в раздумье. — Она слушает только фрейлину Юлиану.

— Так потолкуйте с фрейлиной.

— Нет, та меня и слушать не станет.

— В таком случае ничего не остается, жак попытаться вам самим. Не откладывайте только в долгий ящик. А теперь, Лизавета Романова, будьте здоровы.

— Да, да, Гриша, уходи, да, смотри, не попадись бироновцам.

До вечера Лили не имела случая говорить без свидетелей с принцессой, так как, по желанию самой Анны Леопольдовны, она почти весь день проводила в царской детской. Дело в том, что еще с лета в Петергофе Иоанн Антонович до такой степени привык к Лили, что

на руках у нее успокаивался даже скорее, чем у собственной кормилицы-чухонки. Но в данное время у него прорезывались первые зубки, и Лили не удалось еще уложить его в постельку, когда в детскую вошла принцесса, чтобы перед сном поцеловать сыночка.

— Он все еще не может заснуть? — спросила она. — Что с ним?

— Верно, предчувствует, бедняжка, что его скоро разлучат с родителями! — со вздохом отвечала Лили.

— Что ты болтаешь такое! От кого ты слышала?

— Это в воздухе носится. В четверг все, вероятно, решится.

— В четверг?

— Да ведь в четверг, ваше высочество, тринадцатого ноября — день рождения герцога, и в этот день, говорят, сыновья его будут провозглашены ближайшими наследниками на русский престол, а вас с принцем попросят уехать в Германию.

Анна Леопольдовна, слышавшая уже нечто подобное от Юлианы, не на шутку всполошилась.

— Нет, этому я не верю, не верю! — пробормотала она. — Герцог все-таки не посмеет...

— Простите, принцесса, — еще настоятельнее заговорила Лили, — но чего этот человек не посмеет? Он до того уже зазнался, что самых знатных, самых почтенных лиц принимает у себя в шлафроке, вместо всей руки подает кому три, кому два пальца. Если же кто по ошибке назовет его по-прежнему светлостью, а не высочеством, то он приходит в ярость. Помяните мое слово: его будут величать уже не высочеством, а величеством.

— Но это ужасно! Это Бог знает что такое! — воскликнула Анна Леопольдовна. — И никого, ни одной души, кто защитил бы меня от чудовища!

Она заплакала и, ломая руки, бессильно упала в кресло.

— Вашему высочеству не надо сразу отчаиваться, — продолжала Лили, — вам надо действовать.

— Действовать?

— Прежде чем герцог успеет привести в исполнение свой замысел, арестуйте его самого.

— В уме ли ты; моя милая! Мне ли, слабой женщине, пускаться в такую авантюру?

— Само собой разумеется, что распорядиться всем должен фельдмаршал Миних. Он вам искренне предан, а самого его войско боготворит.

— Это-то правда... Разве уж посоветоваться с фельдмаршалом?

— Непременно, ваше высочество, и не отлагая ни одного дня. Молодой граф, должно быть, еще здесь; он мог бы передать ваше желание отцу.

— Но как же так, без Юлианы? Я услала ее уже спать, у нее жестокая мигрень...

— Юлиана тоже уважает его больше всех. А каждая минута дорога. Так прикажете позвать к вам молодого Миниха?

— Позови...

Сын фельдмаршала, гофмейстер принцессы и камергер ее сына, действительно оказался еще в дежурной. Анна Леопольдовна сообщила ему свое желание завтра же видеть его отца, но под каким-нибудь благовидным предлогом, чтобы не было лишних толков.

— Предлог есть, — отвечал молодой Ми-



них. — Отец и без того собирался на днях привезти к вашему высочеству нескольких кадет, которых наметил в пажи.

— Вот и прекрасно. Так утром я ожидаю фельдмаршала с его кадетами.

# Глава пятая

## РЕГЕНТА "УСЫПЛЯЮТ"

На следующее утро, 8 ноября, фельдмаршал Миних прибыл во дворец в сопровождении молодого адъютанта и нескольких кадет. В ожидании предстоящего ей репистельного разговора с глазу на глаз с фельдмаршалом о задуманной аванюре Анна Леопольдовна была в таком нервном возбуждении, что, не дослушивая его объяснений о представляемых в пажи кандидатах, вперед уже на все соглашалась:

— Хорошо, хорошо, граф... Кого же из них вы сами мне предлагаете?

Когда же Миних указал ей, что таких-то он рекомендовал бы в пажи к государю императору, а таких-то в пажи к ней самой, принцесса протянула юношам для поцелуя руку:

— Так поздравляю вас, господа, пажами! Скоро мы с вами опять увидимся. А теперь, граф, мне надо бы еще переговорить с вами.

Молодой адъютант Миниха за все время не проронил ни слова, но Лили не могла не

заметить, что глаза его то и дело направляют-ся в ее сторону, точно притягиваемые магнитом. А уходя с кадетами, он отдал поклон сперва принцессе, а потом и ей, Лили.

Когда тут Анна Леопольдовна прошла с Минихом в смежную комнату и не позвала даже с собой своей наперсницы, Юлианы Менгден, та, оставшись в приемной вдвоем с Лили, не утерпела сорвать на ней свое сердце:

— Что это у тебя, скажи, с Манштейном?

— У меня — с кем? — переспросила, неудомевая, Лили.

— Да с этим адъютантом фельдмаршала!

— Я и не знала, что его зовут Манштейном.

— Ну да, рассказывай. Если же не знала, то тем непростительнее с ним так переглядываться.

Лили справедливо возмутилась:

— Что вы говорите, Юлиана? Я и не думала глядеть на него.

— Но он с тебя глаз не спускал, а потом отдельно еще тебе поклонился.

— Так я-то чем виновата? Разве я могу запретить человеку глядеть на меня!

— Но ты в ответ на его поклон сделала ре-

веранс.

— Мне кажется, этого требовала простая вежливость.

— Молодым кавалерам девицы не делают реверанса, а кивают только вот этак головой.

— На будущее время буду знать, а от Манштейна нарочно уже буду отворачиваться.

Таким заявлением щепетильной гоффрийлине пришлось пока удовлетвориться.

Совещание принцессы со стариком-фельдмаршалом продолжалось довольно долго. Наконец дверь отворилась и показался Миних. По его решительному виду можно было догадаться, что вопрос об аресте регента решен в утвердительном смысле.

— Вот что, милая Юлиана, — обратился он к фрейлине (как свекор ее родной сестры, он обходился с нею запросто). — Ты нынче вечером свободна?

— Свободна. А что?

— Я предлагал принцессе лично навестить сегодня герцогиню Бирон, но она и слышать о том не хочет. Между тем необходимо усыпить бдительность и герцогини и самого герцога. Я напрошусь к ним уже на обед, пробуду там,

может быть, и до ужина. А ты, Юлиана, вместе с сестрой поезжай туда вечером.

— И остаться также к ужину?

— Непременно, до самой полночи. При этом старайся быть возможно непринужденнее и любезнее с обоими хозяевами. Да тебя, впрочем, нечего учить. А когда вернешься опять сюда, во дворец, то на всякий случай не раздевайся, а приляг в платье.

— Хорошо. Но караульные пропустят ли вас сюда ночью?

— С вечера весь караул как здесь, так и у герцога в Летнем дворце будет от моего Преображенского полка. Каждый из моих солдат знает меня в лицо. До свиданья же у Биронов!

Тут только, обернувшись, фельдмаршал заметил стоявшую в стороне Лили.

— И вы тут, баронесса? Вы слышали весь наш разговор?

— Слышала, граф, — отвечала она, — но никому ничего не разболтаю.

— На нее можно положиться, — подтвердила со своей стороны Юлиана, но все-таки сочла нужным сделать ей еще внушение, после чего услала ее в детскую к младенцу-госу-

дарю, который без нее, пожалуй, соскучился.

Большую часть этого дня Лили так и пробыла в детской. Но когда Юлиана с сестрой своей, согласно инструкции Миниха, уехала вечером в гости к герцогине Бирон, Лили испросила у Анны Леопольдовны разрешение продежурить рядом с ней в гардеробной, пока фрейлина не возвратится. Ей ни за что не хотелось проспать того события, которое должно было совершиться в эту же ночь.

Молодость, однако, взяло свое. Привыкнув ложиться спозаранку (так как Иоанн Антонович просыпался поутру очень рано и будил ее своим криком), Лили незаметно задремала в гардеробной, где прикорнула на диванчике. Внезапно, сквозь сон, чрез неплотно притворенную дверь до ее слуха долетели голоса принцессы и гоффрейлины. Она насторожилась.

— Значит, они ничего еще не подозревают? — спрашивала принцесса.

— Ничего, — отвечала Юлиана. — Герцогиня показывала мне и сестре новое коралловое ожерелье, которое выписала себе из Венеции, и очень интересовалась тем, как переделыва-

ются теперь ваши драгоценные вещи.

— Ну, конечно! Ничто другое ее ведь не интересует. А герцог?

— Герцог весь вечер был как-то особенно задумчив. Совершенно неожиданно он спрашивает вдруг фельдмаршала, не случилось ли ему во время похода предпринимать что-нибудь важное в ночную пору.

— Вот видишь ли! — воскликнула принцесса. — А что же Миних?

— В первый момент он был как будто озадачен. Но то был всего один момент. Он тотчас овладел опять собой и отвечал, что, сколько ему помнится, ночью он никогда ничего не предпринимал, вообще же у него правило — пользоваться обстоятельствами.

— Как неосторожно! Бирон, пожалуй, все-таки еще догадается.

— Не думаю. Расстались они старыми друзьями. Принцу ваше высочество ничего ведь еще не говорили?

— Ни слова. Он только испортил бы все дело. А теперь, Юлиана, что нам-то делать?

— Вооружиться терпением. Вы, ваше высочество, ложитесь и постарайтесь заснуть. Ко-

гда нужно будет, я уже разбужу вас.

— А сама ты где же будешь?

— Да здесь же, в гардеробной.

Лили быстро вскочила со своего диванчика и выскользнула из гардеробной, чтобы не слышать репримандов Юлианы. Но ушла она не к себе, а в детскую, где утнездилась в кресле около колыбельки царственного младенца. Но тут сон опять одолел ее, и она после уже узнала о том, что было во время ее сна. Было же вот что:

Около двух часов ночи фельдмаршал Миних приехал в карете за принцессой, чтобы отвезти ее в Преображенские казармы. Там она должна была заявить солдатам, что согласна на предприятие фельдмаршала. Но Анна Леопольдовна не могла превозмочь своей природной робости и отказалась ехать. Миниху с трудом удалось уговорить ее выйти по крайней мере в приемную к сопровождавшим его офицерам. Здесь она прерывающимся от слез голосом сказала им небольшую речь:

— Очень рада вас видеть, господа... Вы знаете, сколько обид претерпели мы от герцога



курляндского, я и мой супруг... Того ради мы рассудили арестовать герцога... Вот господин фельдмаршал взялся, никого не компрометируя и колико можно в секрете, исполнить это трудное предприятие... От его успеха зависит спокойствие и счастье целой империи... Уповаю, господа, что вы не откажете в секунсе[4] вашему генералу, как подобает честным и храбрым офицерам?

Растерянный вид ее был так трогателен, что офицеры отвечали в один голос:

— Рады стараться, ваше высочество!

Принцесса окончательно расчувствовалась и бросилась на шею старику-фельдмаршалу, а потом допустила к руке и всех офицеров.

— Торопитесь, господа, торопитесь, — говорила она им, всхлипывая, — и дай вам Бог полного успеха!

По уходе фельдмаршала и офицеров она все еще не могла справиться со своими нервами и нигде не находила себе места: прошла к своему гофмейстеру, Миниху-сыну в дежурную, чтобы в разговоре с ним отвести душу, разбудила потом своего, ничего не чаявшего,

супруга и откровенно рассказала ему обо всем, после чего вместе с ним и с Юлианой отправились в детскую. От голосов их Лили проснулась и поспешно поднялась со своего кресла. Сколько раз то она, то Юлиана выходили узнать, нет ли какого посланца от фельдмаршала. Наконец Юлиана вбежала с вестью:

— Фельдмаршал вернулся! Все поспешили в приемную.

# Глава шестая КАК ДОВЕРШИЛАСЬ АВАНТЮРА

— Поздравляю, ваше высочество! Регент арестован! — были первые слова Миниха.

Анна Леопольдовна набожно перекрестилась:

— Слава тебе Господи!

И в порыве благодарности, не стесняясь присутствия супруга, она расцеловала счастливого вестника в обе щеки.

— Где же он теперь?

— Он здесь же, в Зимнем дворце, под строгим караулом. В эту минуту арестуют также его брата, Густава Бирона, и Бестужева-Рюмина.

— Кабинет-министра?!

— Да ведь Бестужев — первый клевет герцога. К остальным высшим сановникам я разослал гонцов, чтобы все они были здесь к девяти часам утра — принести поздравление вашему высочеству, а войскам приказано

быть в сборе на Дворцовой площади еще часом раньше. Завтра два преданных мне офицера командируются — один в Москву, другой в Ригу — арестовать обоих генерал-губернаторов: Карла Бирона и зятя герцога, генерала Бисмарка.

— Обо всем-то вы подумали, граф, ничего не забыли! А герцогиня?

— Герцогиня... Пока она оставлена с детьми в Летнем дворце под караулом.

— Вот-то, я думаю, бедная перепугалась!

— Да... в перепуге она прямо с постели выскочила на улицу.

— Бог ты мой! При двадцатиградусном морозе! Но расскажите, граф, пожалуйста, все по порядку.

— Когда я ушел отсюда с офицерами в третьем часу ночи, — начал фельдмаршал, — я поставил солдат в кордегардии[5] под ружье.

— Всем вам, ребята, — сказал я, — хорошо ведомо, сколь великое утеснение чинится от регента нашему малолетнему государю и об-им его родителям. В гордыне и лютости своей границ он себе уже, не знает. Терпеть больше того невозможно. Надобно убрать регента.

Вы, ребята, до сих пор всегда доблестно исполняли свой долг. Готовы ли вы и в сем деле служить государю?

И все сто двадцать солдат ответствовали как один человек:

— С радостью готовы служить государю! Ни головы, ни живота не пожалеем.

— А ружья у вас заряжены?

— Никак нет.

— Так сейчас же зарядите.

Сорок человек с одним офицером я на всякий случай оставил здесь в карауле при знамени, с остальными же офицерами и восьмьюдесятью нижними чинами двинулся пешком к Летнему дворцу.

— Пешком в такой мороз! Но ведь у вас была карета? — заметила принцесса.

— Карета поехала за нами. Мой пример должен был поддержать дух солдат. Не доходя шагов двухсот до Летнего дворца, я выслал вперед Манштейна. Он вызвал ко мне караульного капитана с двумя младшими офицерами. Когда я объяснил им, что предпринимается, они с радостью изъявили также полную готовность. Тут я приказал им, ничего еще не

говоря солдатам, пропустить к герцогу Манштейна. Выбрав себе двадцать человек с одним офицером, Манштейн вошел во дворец... А! Да вот он и сам! — прервал Миних свой рассказ и обратился к входящему адъютанту: — Ну что, Манштейн, с братом регента у вас не было больших хлопот?

С изящной самоуверенностью преклонясь перед принцессой и принцем, Манштейн начал свой рапорт мужественным и сочным баритоном:

— Имею честь доложить, что у дома стоял караул от Измайловского полка в двенадцать человек с унтер-офицером. Как командир этого полка, Густав Бирон пользуется вообще расположением солдат, между которыми немало ведь курляндцев. Унтер-офицер, тоже курляндец, не хотел сперва впустить меня, но я указал на свой конвой и объявил, что при малейшем упорстве ни один из них не останется в живых. Тогда они покорились, и я беспрепятственно прошел в спальню их командира. Он спал так крепко, что я должен был его разбудить. Спросонок не узнав меня, он напустился на меня:

— Кто вы такой? И как вы посмели войти ко мне прямо в спальню?

— Я прислан к вам, — отвечал я, — от фельдмаршала графа Миниха.

Тут он разглядел, с кем имеет дело.

— Ах, это вы, Манштейн! Что же нужно фельдмаршалу?

— Дело, не терпящее отлагательства. Не угодно ли вам сейчас одеться?

Он стал спешно одеваться, а я отошел к окошку. Не совсем еще одевшись, он подошел ко мне:

— В чем же, скажите, дело?

— Дело в том, что мне приказано вас арестовать.

— Арестовать!

Он хотел открыть форточку, чтобы крикнуть своему караулу. Но я схватил его за руку.

— Брат ваш, герцог, уже арестован, — сказал я, — и если вы не дадите взять себя доброй волей, то будете убиты без всякого снисхождения. Эй, ребята!

Когда вбежали мои конвойные, он понял, что сопротивляться бесполезно, и просил только подать ему шубу. Против этого я, ко-

нечно, ничего не имел, посадил его к себе в сани и сдал здесь, в кордегардии.

— Превосходно, — одобрил Миних. — А теперь расскажите-ка их высочествам, как вы взяли самого регента.

— Главное затруднение для меня заключалось в том, — заговорил опять Манштейн, — что в Летнем дворце мне не было известно расположение всех комнат. Знал я только, что герцог со своим семейством занимает четырнадцать покоев и что вход к нему из антикамеры, где принимают послов. Пройдя садом к заднему крыльцу, я застал в прихожей нескольких дежурных лакеев. Но так как за мной следовал взвод солдат, то лакеи так растерялись, что ни один не догадался побежать предупредить своего господина. Я их уже не спрашивал и пошел наугад. Из посольской антикамеры я проник в первый внутренний покой, оттуда во второй. Далее была большая закрытая дверь.

Не спальня ли там? Я толкнул дверь. Изнутри она была хоть и замкнута на ключ, но не заперта на задвижки. От сильного толчка обе половинки двери разом раскрылись.



Я не ошибся: то была собственная спальня герцога. Освещалась она висячим фонарем, кровать же была с балдахинном и занавеской. Я отдернул занавеску и увидел перед собой спящих глубоким сном герцогиню и герцога. Я их громко окликнул.

Оба тотчас проснулись и закричали, что было мочи:

— Караул! Караул!

Я стал было объяснять, зачем явился, но герцогиня, приподнявшись с подушек, продолжала кричать, а герцог, вообразив, должно быть, что настал последний его час, вскочил с постели (он лежал с другой стороны) и со страху полез под кровать. Я, однако, уже обошел кругом и схватил его. Он барахтался, брыкался и начал опять звать караульных.

— Караульных у меня к вашим услугам двадцать человек, — сказал я. — Сюда, ребята!

Подоспевшие ко мне на помощь конвойные справились с ним также не сразу. Герцог — человек, как вы знаете, очень сильный. Он стал работать кулаками, а одному солдату, который схватил его за горло, до крови укусил палец. Наконец они его все-таки осилили,

скрутили ему руки офицерским шарфом, рот заткнули платком и на руках вынесли его из дворца. На улице я велел набросить на него солдатскую шинель, так как он был в одном белье..."

— А я уступил ему мою карету и сам пошел опять пешком, — с сухой усмешкой досказал Миних, — последняя честь побежденному врагу!

— Вы, граф, можете еще шутить! — заметила с укоризной сострадательная Анна Леопольдовна. — А герцогиня, говорили вы, убежала на мороз за мужем тоже в ночном туалете? Как вы ее не удержали, мосье Манштейн?

— Солдаты, ваше высочество, ее и не пускали, — отвечал Манштейн. — Но она вырвалась у них из рук. Я увидел ее уже на улице, на куче снега и велел отвести ее назад во дворец.

— Там у нее, наверно, найдется от простуды шалфей с малиной, — добавил Миних. — *A la guerre comme à la guerre,*[6] принцесса.

Лили, подобно всем другим слушателям, не сводившая глаз с молодого адъютанта

фельдмаршала, не могла не заметить, что временами его взоры словно невольно обращались в ее сторону, но затем он тотчас опять отводил их на принцессу.

Вошедший в это время паж доложил о прибытии цесаревны Елизаветы и первого министра, графа Остермана.

— Я послал за ними, — объяснил Миних, — чтобы сообща обсудить, что предпринять с бывшим регентом и как объявить народу в манифесте о вступлении вашего высочества в управление государством.

Совещание с цесаревной и канцлером затянулось почти до самого рассвета. Отставленного регента положено было поутру отправить в Шлиссельбургскую крепость до решения судом его дальнейшей участи, принцесса Анна Леопольдовна делалась правительницей на время малолетства своего сына, с титулом "императорского Высочества великой княгини российской", но самый титул должен был быть предложен ей советом первых чинов государства по принесении присяги, манифест же был сочинен тут же искусником по этой части Остерманом, чтобы он мог

быть подписан без всякой задержки приглашенными во дворец к 9 часам утра министрами и генералитетом.[7]

Так закончилось регентство герцога курляндского Эрнста-Иоганна Бирона, продолжавшееся всего 22 дня: с 18 октября по 9 ноября 1740 года.

# Глава седьмая

## СВОЯ РУКА — ВЛАДЫКА

С раннего уже утра весть о низложении ненавистного временщика-курляндца облетела весь Петербург. Но те именно лица, которым по служебной их обязанности должно было быть известно, казалось бы, раньше других о готовящемся перевороте, узнали о нем позже очень многих простых обывателей столицы. К числу таких, ничего не чаявших должностных лиц принадлежал и полицеймейстер князь Шаховской, пользовавшийся особенным фавором Бирона. В оставшихся после него «Записках» Шаховской откровенно признается, что, когда перед рассветом, его разбудил полицейский офицер и объявил ему об аресте регента и о большом съезде в Зимнем дворце, он "ни малюго воображения о том прежде не имея, в смятении был". Наскоро одевшись, он велел везти себя туда же, но дворец был окружен такой несметной толпой, что ему, Шаховскому, пришлось выйти из кареты, и он с большим трудом пробрался

до крыльца.

"Всевидящий, защити меня!" — молился он про себя, когда подходил к придворной церкви, но "тут уже от тесноты продраться в церковь скоро не мог... Одни носят листы бумаги и кричат: "Изволите, истинные дети отечества, в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и в том Евангелие и крест целовать!" Другие, жадно спрашивая, как и что писать, и вырывая один у другого чернильницу и перья, подписывались и теснились войти в церковь присягать и поклониться стоящей там правительнице в окружности знатных и доверенных господ".

В кишевшей на дворцовой площади народной толпе был и Самсонов. На его глазах ко дворцу подъезжали придворные экипажи за экипажами, подходили с распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкой, войска. Вокруг него раздавались радостные клики с насмешками над Бироном и похвалами новой правительнице. А вот гром пушек с Петропавловской крепости, беглый ружейный огонь и троекратное "Виват!" войск с звуками литавр и труб, возвестили, что молеб-

ствие в дворцовой церкви окончено и присяга исполнена. По всей площади прокатилось громогласное «ура», тхедхваченное неумолкающим перезвоном колоколов всех столичных церквей.

"И, может быть, я сам сей этой радости народной причинен!.. — подумалось Самсонову. — Отчего же у меня на душе так невесело?"

И вспомнилось ему тут все то, чего он слышался о безволии принцессы Анны Леопольдовны, о ее полном равнодушии к государственным делам.

"Ну, что же делать! Приходится мириться с тем, что есть: слабая, но добрая правительница все же во сто крат лучше изверга Бирона..."

В это время из ворот дворца начали выкатывать на площадь бочку за бочкой "зелена вина" на угощение народа.

Господи Боже Ты мой, что случилось вдруг с этими тысячами мирных людей! Все разом, словно обезумев, громадной океанской волной ринулись к хмельному зелью, пуская в ход кулаки и локти, толкая и давя друг друга. Крупная брань и болезненные вопли... Поза-

ди остались одни слабосильные старики, да и тех зависть берет.

— Ишь, черти! — ворчит один. — Из-за кости с мозгом собаки грызутся!

— Грех сладок, а человек падок, — отзывается другой, а сам, облизываясь, утирает сивые усы. — Мужику вино, что колесу деготь.

А там, около бочек, после потасовки идут уже братские объятия и лобзанья, разливаются на всю площадь разгульные песни.

У Самсонова не стало уже сил быть свидетелем этих диких, но простодушных проявлений радости народной. Он поплелся восвояси и завалился спать, чтобы только поскорее забыться. Но еще до утра его поднял на ноги денщик старика Миниха:

— Вставай-ка, вставай, друг любезный. Фельдмаршал тебя к себе требует.

Когда Самсонов вошел в кабинет графа Миниха, кроме хозяина там оказался еще и сын его, а также их родственник, президент камер-коллегии барон Менгден, дядя баронессы Юлианы.

— У тебя ведь, сказывают, изрядный почерк? — обратился к Самсонову фельдмар-



шал. — Изготовься же, очини себе перо.

Пока Самсонов очинивал свежее гусиное перо, у тех троих продолжалось совещание, разумеется, на родном их языке, но, говоря уже и прежде с грехом пополам по-немецки и пробыв затем полгода в остзейском крае, Самсонов понимал каждое их слово.

— Итак, — заговорил старик Миних, — каким отличием можно было бы оказать наибольшую приятность самой правительнице? В денежных средствах ее высочество отныне нуждаться уже не будет...

— Если позволите мне высказаться, — заметил Менгден, — с принятием титула императорское высочество принцесса имеет несомненное право возложить на себя орденские знаки Святого Андрея Первозванного...

— Верно. Траур ей, видимо, уже надоел, и она будет очень довольна являться на всех торжествах в светло-голубой ленте.

— Не пристойнее ли будет, — возразил Миних-сын, — доложить сперва о том самой принцессе и поднесение ей этого высшего знака отличия предоставить высшему учреждению — сенату?

— Правильно, — согласился отец. — Ты, мой милый, как ее гофмейстер, представишь на ее усмотрение список предполагаемых наград и при сем удобном случае упомянешь на словах также об Андреевской звезде...

— И ленте небесно-лазурного цвета? Не забуду! — улыбнулся сын. — С кого же мы начнем список?

— С кого, как не с вашего почтеннейшего батюшки? — заявил президент камер-коллегии. — Благодаря ему одному ее высочество провозглашена регентшей...

— Да чем вы меня еще наградите, милый барон? — сказал фельдмаршал. — Все ордена у меня есть, в армии я выше всех... Недостает мне разве еще звания генералиссимуса...

— Вот, вот!

— Простите, батюшка, — вмешался снова молодой Миних. — Но у меня есть основания думать, что принц Антон-Ульрих давно уже и во сне, и наяву мечтает об этом высоком звании.

— В самом деле?

— Я в этом уверен. Юлиана слышала из его собственных уст.

Фельдмаршал поморщился.

— В таком случае, конечно... Надо бы хорошенько выяснить еще это обстоятельство.

— Да есть ли у нас на то время? Указ о наградах должен быть нынче утром подписан, а принц, как вы знаете, до крайности обидчив и тщеславен. Не деликатнее ли будет, не спрашивая принца, прямо пожаловать его в генералиссимусы, а вам самим до времени удовольствоваться должностью первого министра?

— Гм... Но первым министром состоит теперь Остерман...

— Ну, для него мы придумаем какое-нибудь другое отличие. Кабинет министров без вас уже немислим, а кому же быть первым в кабинете, как не вам?

— Будь так. Но нельзя ли как-нибудь хоть оговорить, что генералиссимусом следовало бы быть собственно мне...

— Что ж, это можно. Что, Самсонов, приготовил перо? — спросил по-русски молодой граф.

— Приготовил.

— Так пиши: "Ноября 10 дня всемилости-

вейше пожаловали мы: «1». Любезнейшему нашему государю-родителю быть генералиссимусом, и хотя генерал-фельдмаршал граф фон Миних за его к Российской империи оказанные знатные службы и то ныне уже первый в Российской империи командующий генерал-фельдмаршал и в коллегии военной президент к пожалованию б сего знатного чина надежду иметь мог, токмо во всенижайшем к вышеупомянутом его высочеству почтении от сего высочайшего чина отрекается, притом же его высочество чин конной гвардии подполковника на себя принять изволил".

— А не покажется ли принцу такая оговорка несколько обидной? — заметил Менгден. — Точно его жалуют не за действительные его заслуги.

— Да ведь оно так и есть, — сухо отрезал старик Миних. — Диктуй далее, — сказал он сыну.

Тот продолжал:

— "2". Генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху по вышеписанным обстоятельствам и особливо в рассуждении при нынешнем

случае нам, родителям нашим и всему государству оказанной усердной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему Бог живот и силу продолжит, в состоянии был Нам ревностные услуги оказать, Всемилоостивейше пожаловали чин первого министра в наших консилиях, и как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть, при чем и супруге его пред всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои невладеющие в нашей службе обретаются, супругами, первенство иметь".

— Вот это так! — одобрил фельдмаршал, и в бесстрастном взоре его блеснул огонек как бы искрейнего чувства. — За твою матушку я особенно рад! Теперь надо задобрить Остермана. Уступить мне звание первого министра будет ему очень горько. Если этому старому волку не заткнуть рта другим сочным куском, то он не перестанет лязгать на меня зубами.

— Помнится мне, — подал тут голос Менгден, — что несколько лет назад, когда Остер-

ман работал над новым положением для флота, он очень льстился на звание генерал-адмирала.

— Да? Ведь вакансия эта и доньше еще свободна?

— Ну, что ж, произведем его в генерал-адмиралы! — усмехнулся молодой Миних и кивнул Самсонову. — Итак, пункт третий: "Вице-канцлеру Империи, графу Остерману, пожаловали чин давно состоящей вакансии генерал-адмирала, причем ему и кабинет-министром быть по-прежнему".

— Остермана зовут у нас душою кабинета министров, а Черкасского телом, — сказал фельдмаршал. — Теперь, стало быть, очередь тела. Со смерти старого Головкина, больше шести уже лет, должность великого канцлера тоже не занята. Не предоставит ли ее Черкасскому?

— Сказать между нами, — заметил Менгден, — Черкасский за свои неблаговидные поступки заслуживал бы скорее отставки, чем награды. В нем нет ни капельки добродушия истых русских людей, в душе он все еще татарин...

— Так-то так, — сказал Миних-сын. — Но в начале нового правления, мне кажется, вернее можно утвердиться не строгостью и увеличением прежних провинностей, сколько милосердием и великодушием, а потому для новой правительницы будет полезнее явить и в сем случае особенно убедительный акт великодушия, возвысив малодостойного. Не правда ли, батюшка?

— Вреда большого оттого для России не будет: воли я ему все равно не дам.

— Стало быть, вы согласны? Пиши, Самсонов: «4». Действительному тайному советнику князю Черкасскому пожаловать также чин давно состоящей вакансии великого канцлера, и быть ему по-прежнему в кабинете".

— Мне вот что приходит в голову, — сказал тут старик-фельдмаршал. — Если Черкасского не считать коренным русским, то до сих пор мы не наградили еще ни одного русского. Теперь выдвинем и кого-нибудь из русских.

Так в 5-й пункт наградного указа попал природный русский граф Михаил Гаврилович Головкин, который давно уже получил высший гражданский чин действительного тай-

ного советника, а теперь удостоился звания вице-канцлера.

За Головкиным следовал еще целый ряд награждаемых лиц, в том числе, конечно, и двое присутствующих при совещании: Миних-сын был назначен обер-гофмейстером с чином генерал-поручика, а барон Менгден украсился орденовыми знаками Святого Александра Невского. Из остальных упомянем здесь еще о бывшем адъютанте принца брауншвейгского, Петре Граматине, который за месяц назад, после пытки в застенке и наказания кнутом, был лишен всех чинов и исключен из службы, а теперь восстанавливался в прежних чинах с назначением на должность директора канцелярии принца.

— Всех, кажется, удовлетворили, кого следовало, никого не обошли? — сказал фельд-маршал.

— А придворные дамы не попадут в этот указ? — спросил Менгден.

— Нет, относительно их будет особое распоряжение, выбор их надо предоставить самой принцессе. Вы, барон, имеете в виду, вероятно, вашу племянницу Юлиану?



— Да, она, казалось бы, заслужила того, чтобы сделаться статс-фрейлиной ее высочества.

— Еще бы! — подтвердил Миних-сын. — Теперь у ее высочества уже по регламенту должно быть не менее семи фрейлин, а кому же и быть старшей, как не Юлиане? Да она и сама напомнит принцессе, будьте покойны.

— Ваше сиятельство не погневитесь за смелое слово? — решился тут выступить со своим предложением и Самсонов.

— Говори.

— Любимую свою камер-юнгферу, баронессу Лизавету Романовну Врангель, ее высочество принцесса еще при блаженной памяти государыне немеревалась также взять к себе во фрейлины...

— Да тебе-то откуда сие известно учинилось?

— А он молочный брат баронессы Врангель, — объяснил отцу с улыбкой молодой граф. — Точнее сказать, приходился он молочным братом ее покойной сестре, Маргарите, которая, если вы припомните, была также фрейлиной при принцессе... А две величины,

равные порознь третьей, равны между собой.

По узким губам Миниха-отца проскользнула также тень улыбки.

— Старая аксиома, — промолвил он. — Но ведь если принцесса так уж благоволит к этой девице, то и сама, конечно, не преминет сделать ее фрейлиной.

— На всякий случай, я все-таки доложу ей об этом, — сказал молодой граф.

— Вспало мне еще на мысль, ваше сиятельство... — заговорил опять, ободрившись, Самсонов.

Фельдмаршал начал уже, видимо, терять терпение и сдвинул брови.

— Что еще?

— Ее высочеству цесаревне Елизавете Петровне, осмелюсь спросить, ничего не жалуется?

Оба Миниха, отец и сын, озадаченно переглянулись: цесаревну они совсем ведь упустили из виду!

— Да что можно было бы ей пожаловать? — сказал фельдмаршал. — В средствах она хоть и стеснена, но рядом с почетными наградами простым смертным назначить ей,

царской дочери, денежный презент не совсем-то подобает.

— При своей гордости она, наверное, откажется, как отказалась от презента Бирона, — заметил сын. — Но у тебя, Самсонов, никак, уже что-то придумано?

— Не знаю, как покажется вашим сиятельствам... Цесаревне, сдается мне, не столь даже лестно стоять в указе наряду с разными сановными особами, сколько видеть родственное внимание к себе со стороны правительницы. Года два назад цесаревна прочила в камер-юнкеры к себе доброго приятеля моих бывших господ Шуваловых, Воронцова Михаилу Ларионыча. Но герцог Бирон не влюбил его и удалил в Новгородскую губернию в линейные полки. Так вот, кабы его вернуть теперь оттуда ко двору цесаревны...

— Препозиция, батюшка, мне кажется, весьма даже приемлемая, — сказал Миних-сын. — Воронцов в самом деле был в немалом фаворе у цесаревны, а паче того, пожалуй, у ее кузины молодой графини Скавронской.

— Герцог опасался, говорят, как бы не до-

шло у них даже до брака, — добавил Менгден. — Это был бы такой мезальянс...[8]

— Да нам-то какое до этого дело? Умиротворить бы только цесаревну и ее приближенных.

— Совершенно верно, — подтвердил старик отец. — Так ты, сын мой, скажи об этом правительнице сегодня же при поднесении указа о милостях. Она, верно, тоже опробует.

— А курьер, ваше сиятельство, к господину Воронцову будет тоже послан? — спросил Самсонов.

— Ты, братец, не сам ли уж хотел бы быть таковым курьером? — снисходительно опять улыбнулся фельдмаршал.

— Коли будет такая ваша милость. Михайло Ларионыч меня с прежних времен хорошо тоже знает.

— Ну, что ж, поезжай с Богом.

# Глава восьмая СОКОЛ С МИРТОВОЙ И ГОЛУБЬ С МАСЛИЧНОЙ ВЕТКОЙ

Проект наградного указа, как и следовало ожидать, был принцессой во всех пунктах опробован, и не далее как в 11 часов утра указ был прочитан высшим чинам, собравшимся во дворце в полном составе. Пожалованные, один за другим, подходили к руке новой правительницы. Каждого она удостаивала официально любезной улыбкой, некоторых избранных и парой ласковых слов, особенную же внимательность выказала старику-фельд-маршалу.

— Вас, граф, как моего первого министра, я желала бы всегда иметь около себя, — сказала она, — но я не могу требовать, чтобы вы во всякую погоду ездили ко мне с Десятой линии Васильевского острова через Неву...

Миних стал было уверять, что ему как человеку военному всякая погода нипочем, но, не договорив, он так раскашлялся, что дол-

жен был прижать к губам платок.

— Вот видите: вы уже простужены! — сказала Анна Леопольдовна. — Нет, нет, вы должны переехать ко мне во дворец. Для вас будут отведены те самые покои, которые я сама занимала до сегодняшнего дня. А чтобы вам поскорее поправиться от простуды, — прибавила она шутливо, — я пропишу вам рецепт...

— Какой такой рецепт, ваше высочество?

— А ордер на отпуск вам ста тысяч из нашей государственной аптеки — рентереи.

Принцессе, очевидно, была неизвестна единственная слабость честного старого воина — жадность к деньгам, и она не без основания полагала, что такое звонкое лекарство излечит его вернее всякой докторской микстуры. Бесстрастные черты фельдмаршала действительно озарились как бы лучами солнца.

— Этим подарком, — с чувством заявил он, — ваше высочество, даете мне возможность привести в исполнение одно мое давнишнее желание. Дом мой уже много лет нуждается в капитальном ремонте. Теперь заодно я могу украсить и наружный фасад его

скульптурными изображениями...

— Ваших воинских подвигов и трофеев?

— Да...

— Вот это я понимаю! Знаете ли, граф, в главной группе я поместила бы пленных турок в цепях. Как вы находите эту мысль?

— Прекрасная мысль, достойная вашего высочества.

— Вы одобряете? Как я рада! Но работа должна быть непременно художественная, и поручить ее можно только первоклассным скульпторам.

— Не иначе.

— Так от ста тысяч вам, пожалуй, ничего почти не останется?

— Не так-то много. Признаться, я наводил уже справки: с общим ремонтом все обойдется по меньшей мере тысяч в семьдесят.

Стоявшая позади Анны Леопольдовны Юлиана наклонилась к ее уху.

— Верно, верно, — тотчас согласилась с ней принцесса. — Уменьшить прописанную вам порцию — значило бы затянуть ваш кашель. Поэтому на починку и украшение вашего дома я пропишу еще отдельный рецепт

на семьдесят тысяч. Напомни мне, пожалуйста, Юлиана.

Такая щедрость правительницы окончательно, казалось, покорила сердце старика-фельдмаршала.

Не забыла принцесса дополнительной милостью и его сына: чтобы ему, новому обергофмейстеру, быть всегда поблизости, она подарила тому в собственность казенный дом по соседству с Зимним дворцом. Чрезвычайно расчетливый вообще в государственных расходах, фельдмаршал на этот раз не возражал: ведь и сын его, как он сам, был одним из самых крепких столпов нового правительства.

Юлиану и Лили Анна Леопольдовна поздравила с их новыми званиями статс-фрейлины и гоффрейлины еще у себя до общего приема. Весть об этом разнеслась на приеме с быстротою молнии, и большинство поздравителей считало долгом после правительницы принести поздравления и ее двум любимым придворным дамам. Так, подошел к ним и молодой адъютант фельдмаршала, подполковник Манштейн. Сказав несколько обыкновен-



ных любезностей Юлиане, он уступил место следующему поздравителю, а сам заговорил с Лили.

— Простите мое любопытство, баронесса, — приступил он прямо к занимавшему его, по-видимому, вопросу, — большую часть вашей недолгой еще жизни вы провели, как я слышал, в деревне?

"От кого он это слышал?" — мелькнуло в мыслях Лили, невольно покрасневшей при таком непосредственном обращении к ней блестящего гвардейца. Но, стараясь не показать своего замешательства, она отвечала с требуемой холодной корректностью:

— При дворе я уже целых полтора года, в деревне же прожила перед тем еще в десять раз дольше.

— О! В таком случае, жизнь ваша действительно очень уж долгая! — улыбнулся Манштейн, затем тихонько вздохнул. — Вашему покорному слуге не выпало такого счастья! Хотя я и лет на десять, на двенадцать вас старше, однако деревенским воздухом почти не дышал. Родился я здесь, в болотистом Петербурге. Покойный отец мой был генералом

русской службы. Но так как сам он был родом из Пруссии, то послал меня воспитываться в берлинский кадетский корпус, из корпуса же я поступил прямо в прусское войско и дослужился до поручика, дослужился бы с Божьей помощью когда-нибудь и до генерала, не пригласи меня пять лет тому назад царица Анна на русскую службу. И здесь мне, должен сказать, повезло: в прошлом году наш славный фельдмаршал взял меня к себе в адъютанты, в нынешнем произвел в подполковники, а на днях я буду иметь честь представиться вам и в полковничьем мундире. Когда дадут мне полк, я могу обзавестись и собственной семьей... Смею ли я, баронесса, узнать ваше мнение, не проситься ли мне куда-нибудь подалее от двора-в деревенскую глушь?

— Мое мнение? — повторила, недоумевая, Лили и вдруг, сообразив, вся вспыхнула до корней волос.

— Вы, может быть, еще подумаете, — продолжал Манштейн. — Если позволите, я завтра зайду к вам за ответом?

Хотя это было сказано несколько пониженным голосом, но Юлиана расслышала послед-

ние слова и отвечала за Лили:

— Она, простите, еще не принимает визитов.

— У нас с баронессой Врангель был разговор о деревне, — нашелся Манштейн. — Ей так хотелось бы подышать опять чистым ароматом лугов и полей. Вот я желал бы доставить ей букет душистых цветов...

— Прибавьте уж на всякий случай и миртовую ветку!

— Что это вы вздумали, Юлиана?.. — пробормотала Лили.

Манштейн, казалось, лучше ее понял иронию статс-фрейлины.

— Так до завтра, баронесса Врангель, — проговорил он слегка дрогнувшим голосом и, отдав обеим фрейлинам формальный поклон, отошел в сторону.

"Не ревнует ли она уже его ко мне?" — подумала Лили.

Она не могла дождаться, когда кончится церемония официального приема, и воспользовалась первым случаем, чтобы уйти к себе. Но тут, в коридоре, перед дверью в свою комнату, она застала своего молочного брата.

— А, Гриша! Хотел показаться мне уже без бороды?

— Бояться мне теперь, точно, уже некого, — отвечал Самсонов каким-то загадочным тоном. — Но я к вам, Лизавета Романовна, не затем...

— А за чем же?

— Меня посылают курьером в Новгородскую губернию за Михайлой Ларионычем Воронцовым. Его возвращают ко двору цесаревны...

— Да? Как графиня Анна Карловна-то будет довольна!

— Приятелька ваша по суженому своему, верно, крепко стосковалась. Так вот я и думаю, не будет ли от нее к нему поклона? Вы дозволите мне от вашего имени зайти к ней?

— Ну, конечно. Я напишу ей сейчас об этом пару строк.

Уйдя к себе, Лили через пять минут возвратилась к Самсонову с запиской.

— Вот, Гриша, отдай ей в собственные руки.

— Слушаю-с. А засим, Елизавета Романовна, позвольте пожелать вам здоровья и всяко-

го счастья...

Голос его упал, и лицо приняло такое грустное, ожесточенное выражение, что Лили не на шутку всполошилась.

— Что это значит, Гриша? Ты точно навеки со мною прощаешься?

— Может, и навеки... Премилостивый Господь не оставь вас!..

— Нет, право, Гриша, что это с тобой? Ты разве не вернешься уже с Воронцовым в Петербург?

— На день-другой вернусь...

— А там опять в свою милую Лифляндию? — досказала Лили с невольной уже горечью.

— Да куда же больше? Здесь у Минихов и без меня сколько лишних ртов: семеро одну соломинку несут. В деревне же я сам себе голова, а тужить обо мне здесь некому, ни одна душа слезинки не прольет.

— Ты думаешь?.. Может, я буду скучать по тебе.

— Ах, Лизавета Романовна! Вы-то забудете про меня еще раньше всех.

— Плакать по тебе я, понятно, не стану, вот

еще! Но почему мне забыть тебя раньше других?

— Да как же: за таким мужем, ясным соколом...

— Что? Что такое? — прервала его Лили. — Ты, Гриша, кажется, бредишь! Кто этот ясный сокол?

— Знамо, что фельдмаршалский адъютант Манштейн: и умен, и пригож.

Лили в сердцах даже ногой топнула.

— Опять этот Манштейн! Ты-то с чего взял, что я выхожу за него?

— А с какой же стати он стал бы допытывать у меня про вас всю подноготную: кто, мол, были ваши родители...

— И много ль за мною приданого?

— Нет, на приданое он не зарится. Напротив, как услышал, что вы не из богатых, то словно у него даже гора с плеч спала. "Стало, говорит, не так уж избалована". Ну, я, вестимо, расписал ему вас: что такой умницы, такой ангельской души поискать...

Лили еще пуще возмутилась:

— Да как ты смел! Кто тебя просил! Я никогда не пойду за него! Да и вообще не выйду за-

муж...

Сумрачные черты Самсонова слегка прояснились.

— Да правда ли, Лизавета Романовна? Ей-богу?

— Ей-богу, Гриша. Ну, а теперь до свиданья.

И, вся вдруг зардевшись, она сама быстро удалилась. А он, облегченно вздохнув, отправился с ее запиской к двоюродной сестре цесаревны, молодой графине Анне Карловне Скавронской.

На другое утро он мчался уже на курьерских в Новгородскую губернию к негласному жениху Скавронской, везя от нее письмо, на конверте которого был собственноручный ее рисунок — голубь с масличной веткой.

Утром доложили Лили, что ее желает видеть полковник Манштейн. Не задумываясь, она велела сказать, что, к сожалению, не может его принять.

— Но они с большим букетом...

"Ясный сокол с миртовой веткой!" — подумала Лили, а вслух промолвила, что "все равно видеть его не может, да и не хочет"!

— Так прямо и сказать прикажите?

— Так и скажи.

"По крайней мере, все разом будет конечно!" — решила она про себя.

Она не ошиблась: вскоре она узнала, что Манштейн назначен командиром Астраханского пехотного полка, стоявшего где-то в глубине России. С тех пор она с ним и не встречалась.



# Глава девятая

## ЧАШКА ЧАЮ У ЦЕСАРЕВНЫ

Приводя в исполнение свое знаменательное предприятие, старик-фельдмаршал чересчур понадеялся на свои силы. Правда, что во время походов он закалил свой крепкий от природы организм, и возраст его был не такой уж преклонный (пятьдесят восемь лет). Предприятие удалось ему также на славу. Но прогулка пешком в одном мундире от Зимнего до Летнего дворца и обратно по сильному морозу, две подряд бессонные ночи и крайнее напряжение нервов не прошли для него даром. Уже в день объявления Анны Леопольдовны правительницею у него обнаружались явные признаки простуды, а затем, не успев еще согласно желанию принцессы, перебраться из своего дома на Васильевском острове в ее прежние покои в Зимнем дворце, он и совсем слег: у него открылся брюшной тиф или, как тогда выражались, "нервная горячка" (Nervenfieber).

Когда сын фельдмаршала принес это пе-

чальное известие молодой правительнице, та выразила ему искреннее соболезнование, но когда он добавил, что отец до своего выздоровления просит ее принимать лично других министров и сановников с докладами, она испугалась:

— Нет, нет! В государственных делах я смыслю столько же, как в китайском языке. Оставьте меня, господа, пожалуйста, в покое!

— Да без вашей санкции, принцесса, ни одно дело первостепенной важности не может получить движения, — настаивал Миних-сын. — А некоторые дела решительно не терпят отлагательства...

— Да если без фельдмаршала мне не так их еще доложат? Тогда я же ведь буду виновата? Вы знаете, что я никому не желаю зла. Всем, всем желаю одного добра...

— Кто этого не знает! Но тем более, ваше высочество, для общего блага...

— Нет, милый граф, дайте мне немножко хоть передохнуть. У меня и своих-то дел теперь выше головы.

В чем же заключались эти свои дела? Во-первых, распустив по настоянию фельдмар-

шала, экономии ради, всех шутов и шутих, приживальцев и приживалок покойной царицы с приличной пенсией, Анна Леопольдовна оделила еще каждого и каждую, по собственному их выбору, разными, оставшимися после ее царственной тетушки, вещами, кроме лишь гардероба. Гардероб же царицын она раздала своим комнатным дамам, а своей статс-фрейлине и первой фаворитке Юлиане Менгден, кроме того, подарила 4 парадных кафтана герцога Бирона и 3 кафтана его сына Петра. Кафтаны эти та выпросила себе, конечно, не с тем, чтобы сохранить их на память: из богатого шитья она дала золотых дел мастеру выжечь все золото и из этого золота сделать для нее четыре шандала, шесть тарелок и две коробки. Мало того, в течение одного 1741 года Юлиана успела потом выклянчить под разными предлогами еще несколько десятков тысяч рублей деньгами и мызу Обер-Пален в Дерптском уезде.

Позаботившись так о своих приближенных, принцесса дала волю и своей собственной склонности к роскоши и комфорту. Мебель в ее покоях было поведено перебить за-

ново дорогими заграничными материями, зашить новые штофные обои были засажены все золотошвейные мастерицы ведомства цалмейстерской конторы, под наблюдением придворного живописца Людовика Каравака, по его же рисунку была заказана для серебряной опочивальни ее высочества новая художественная кровать, а кроватному мастеру Рожбарту другая, попроще, но с балдахином на французский манер. Так как отдыхать и днем правительница находила удобнее на кровати, чем на канапе, то в уборную и в библиотеку было поставлено для нее также по кровати. По вечерам принцесса очень охотно играла с избранными партнерами в карты, для этой партии специально был сделан изящнейший ломберный столик пальмового дерева, крытый малиновым бархатом и бахромой, а для прочих игроков несколько серебряных столов.

Заботы о всем перечисленном отнимали у правительницы немало времени. Далее она уделяла ежедневно час-другой своему царственному сыночку. Главный надзор за ним был поручен теперь бывшей камер-фрау по-

койной государыни, Анне Федоровне Юшковой, номинально оставленной на той же должности и при принцессе. С этих пор Юшкова только и жила и дышала своим питомцем, он в свою очередь так к ней привязался, что, кроме нее да кормилицы, шел на руки, по старой памяти, еще только к Лили Врангель.

Здесь же, в детской, застала принцессу и цесаревна Елизавета Петровна, когда навестила ее раз вместе со своей фрейлиной и двоюродной сестрой графиней Скавронской. Венценосный младенец оказался, по обыкновению, на руках Юшковой.

— Ну, пойди же ко мне, дружочек, пойдиди! — попыталась переманить его к себе цесаревна.

Ее чарующая улыбка вызвала светлое отражение на его пухлом, бледном личике, в его бледно-голубых глазах, но природная дикость взяла верх, и он уткнулся головкой на плече старушки.

— Ах ты золотая головушка, голубок мой сизокрылый! — умилилась Юшкова.

— Но отчего он у вас все еще такой хи-

лый? — спросила Елизавета Петровна.

— Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазьте его, ваше высочество! С самого ведь рождения доктора эти пичкают его своими лекарствами, а желудок не варит, да и все тут. Прогневили мы, знать, Господа! Солнышко ты мое красное, болезный ты мой! Диви бы, мы его не холили, не лелеяли. Вон и колыбельку новую смастерили: вся, извольте видеть, из цельного дуба да орехом оклеена, а поверх серебряной парчой обита с бархатными цветными букетами...

— А вон тут над изголовьем будет большой образ его Ангела-Хранителя с неугасимой лампадой, — подхватила Анна Леопольдовна. — Пишет его наш славный художник Алексей Пospelов. Пока не окончит, я не велела ему брать никаких других заказов.

— А для плезиру нашего светика Ванички вон над окошком и канареечка повешена, — добавила опять Юшкова.

— Но спать она ему не мешает? — спросила Елизавета Петровна.

— Ай, нет-с! Она у нас ведь ученая: самой Варлендшей обучена выпевать куранты, да

не иначе как ежели ножичком этак по стакану поводить. Тут, доложу вам, таково залъется, индо уши развесишь! Свету божьему тоже радуется и другим душу веселит. Всяк по-своему Творца хвалит. Угодно вашему высочеству тоже послушать?

— Нет, милая Анна Федоровна, как-нибудь в другой раз, — мягко уклонилась цесаревна.

Между тем кухня ее Скавронская тихонько шепталась в стороне со своей подругой Лили.

— Как я счастлива, Лили, если б ты знала, ах, как счастлива! — говорила она. — Мы видимся теперь с Мишелем каждый день...

— А когда же ваша свадьба?

— Т-с-с-с! Официально мы ведь еще не обручены.

— Но он сделан уже камер-юнкером цесаревны...

— Камер-юнкерского жалованья, милая, все-таки не хватает, чтобы завести свой дом. А жить на счет жены он не хочет. Мы подождем еще годик. Куда нам торопиться? Да и есть своя прелесть, я тебе скажу, быть этак тайной невестой. А у тебя, дорогая моя, сердце

все еще пустоует? Говорили что-то про Манштейна: будто бы он с горя, что ты ему отказала, зарылся в провинцию.

— Ах, нет! — поспешила Лили разуверить подругу. — Ничего у нас с ним не было... Я и думать о нем уже перестала.

— Так отчего же ты такая скучная? Знаешь что: нынче вечером у нас собирается молодежь на чашку чаю. Вот бы тебе приехать тоже, чтобы порассеяться!

— Но я же никого у вас не знаю.

— А моего Мишеля? А Пьера Шувалова?

— Михаиле Илларионычу, кроме тебя, ни до кого теперь нет дела, а Шувалов заморожен уже Юлианой.

— Ну, все равно. Вот я приглашаю Лили приехать к нам сегодня вечером, — обратилась Скавронская к цесаревне.

— Да, в самом деле, Анюта, отпусти-ка ее к нам, — подхватила Елизавета Петровна, ласково прищурив на Лили свои звездистые очи. — Она прехорошенькая и будет иметь большой успех у наших ферлакуров.

— Заневестилась девка, — пора на торг везти, — поддержала Юшкова.



Все рассмеялись, даже сама Лили.

— Смейтесь, смейтесь, — продолжала Юшкова, — а всякая невеста для своего жениха родится. Может, нынче-то как раз и суждены ей первые смотрины.

— Дай Бог, дай Бог! — сказала не менее самой Юшковой суеверная Анна Леопольдовна. — Но с кем я отпущу ее? Она еще такой ребенок... Будь у меня помоложе обер-гофмейстерина...

— А на что же у тебя, душенька, новый обер-гофмаршал, молодой Миних? — заметила цесаревна. — Человек уже женатый, стало быть, безопасный.

— И то правда.

На том и порешили.

В девятом часу вечера из двухместной кареты, подкатившей ко дворцу цесаревны на углу Миллионной и Царицына луга, вышли Миних-сын и Лили.

Охорашиваясь перед зеркалом в вестибюле, Лили оглядела свое отражение с критической точки зрения и должна была признать себе, что такой свеженькой, миловидной блондинки не было, пожалуй, ни одной среди

всех придворных барышень и немецкого, и русского лагеря.

"Прехорошенькая!" — мысленно повторила она похвалу цесаревны и с простительным самодовольством улыбнулась своему двойнику.

Вдруг в том же зеркале позади нее отразился молодой конногвардеец и, как бы в ответ на ее улыбку, тоже улыбнулся. Она вспыхнула и, гордо вскинув головку, обернулась к своему кавалеру:

— Идемте, граф!

Они стали подниматься по красному сукну лестницы меж двух рядов лавровых и поморанцевых деревьев. На повороте лестницы в огромном зеркале она неожиданно снова увидела себя во весь свой стройный рост с высоко взбитой прической, и снова ей вспомнилось:

"Прехорошенькая!"

Но, переступив порог ярко освещенного зала, где было уже несколько военных и штатских, она ощутила вдруг неодолимый прилив робости и растерянно оглянулась. К счастью, в тот же миг к ней подлетела Скавронская.

— А я, милочка, боялась, что ты все-таки, пожалуй, не приедешь.

И, взяв подругу под руку, она подвела ее к цесаревне.

— Очень рада, что дебют свой вы начнете именно у меня, — милостиво приветствовала ее Елизавета Петровна. — Фарватер у меня неглубокий, без всякого прибоя, но научиться плавать можно, только войдя в воду.

— Я, ваше высочество, с большим удовольствием приму на себя обязанности бадемейстера (учителя плавания), — развязно заявил тут, выступая вперед, знакомый Лили, поклонник Юлианы Менгден, Петр Иванович Шувалов, который как и старший брат его Александр Иванович, был камер-юнкером цесаревны.

Для молодых людей русского лагеря Лили, как камер-юнгфера принцессы, не существовала. Теперь же на нее, как на фрейлину правительницы, были устремлены со всех сторон любопытные и, по-видимому, искренне восхищенные взоры, так что бедняжка не выпускала руки своей подруги и крепче к ней только прижималась.

Зал быстро наполнялся все новыми гостями. Стали разносить чай с легким печеньем. Елизавета Петровна в качестве хозяйки находила время сказать каждому несколько приятных слов. Разговор происходил большею частью на французском языке, а русская речь пересыпалась французскими *bon-mots*, [9] как необходимою приправой. Лили, не совсем еще овладевшая французским языком, больше отмалчивалась и на обращаемые непосредственно к ней вопросы отделялась лаконическими: "*oui, monsieur*", "*non monsieur*". [10] Тем внимательнее прислушивалась она к разговору других. Чего-нибудь глубокомысленного или государственной важности искать в этой великосветской болтовне было, конечно, нечего, в лучшем случае то были занимательные столичные новости, пикантные анекдоты, а то просто набор пустых фраз, которые произносятся без всякого размышления и на которые отвечают, думая о чем-нибудь постороннем или вовсе ни о чем не думая. Но печать отменного приличия лежала на всех, и блески светского остроумия вызывали только легкий, корректный смех.

— Я сяду сейчас за карты, — сказала цесаревна, подходя к Скавронской. — А ты, Аннет, будь уж за хозяйку, устрой *petits jeux*. [11]

Из числа так называемых "маленьких игр" при дворе были в ходу только умные: "secrêtaire", «шарады». Приглядевшись к окружающим, Лили вскоре настолько освоилась в новой среде, что не затруднялась уже меткими письменными и словесными ответами. Сидевший рядом с ней Петр Шувалов, однако, не мог еще как будто привыкнуть к мысли, что она уже взрослая, и полунасмешливо спросил ее, не скучны ли ей эти солидные игры.

— Нет, ничего, — отозвалась Лили. — Только вам-то всем они, кажется, уже надоели по горло, потому что вопросы и ответы все-таки постоянно повторяются.

— Так вы предпочитали бы играть в веревочку или в кошку и мышку?

Лили вскинула на него глаза и отвечала совсем откровенно:

— Еще бы! Там, по крайней мере, жизнь.

— Господа! — возгласил Шувалов. — Вот баронесса Врангель предлагает играть в вере-

вочку или в кошку и мышку.

— Неправда, сама я вовсе этого не предлагала... — пробормотала Лили.

Но шаблонные умные игры, должно быть, в самом деле успели уже набить оскомину большинству играющих, потому что мысль о неумных играх тотчас нашла с разных сторон сочувственный отклик:

— В самом деле, не поиграть ли в веревочку?

— Нет, лучше в кошку и мышку!

— Сперва в одно, потом и в другое, — решила Скавронская.

Сказано — сделано. И дивное дело: вся эта чопорная придворная молодежь вдруг стала естественной, необыкновенно оживилась. С каким одушевлением всякий, попавший по очереди в середину веревочного круга, хлопал других по рукам! Каким взрывом смеха сопровождался каждый хлесткий удар! Чаще других попадала в круг Лили, не потому, чтобы не умела вовремя отдернуть руки, а просто потому, что молодые кавалеры, точно стоворившись, охотнее всего хлопали по рукам эту прелестную, невинную как ребенок ба-

рышню, столь непохожую на всех остальных. Со своей стороны и она не оставалась в долгу, но больше всего от нее доставалось все-таки насмешнику Шувалову.

— Не довольно ли, господа? — сказала тут Скавронская, у которой руки были также отбиты уже докрасна. — А во что же теперь?

— В кошку и мышку! — слышались кругом голоса.

— Да, да, в кошку и мышку!

— Но кому быть мышкой?

— Конечно, мадемуазель Врангель! — заявил Пьер Шувалов.

— Да, да, мадемуазель Врангель! — поддержал единодушный хор других кавалеров.

— А я буду кошкой, — сказал Шувалов.

— Нет я! Я! Я! — откликнулись другие.

— Придется вам, господа, тянуть узелки, — объявила Скавронская.

Три раза подряд Лили была мышкой, но благодаря ее грациозной увертливости ни одной из трех кошек не удалось поймать ее.

Наконец пришлось сделать паузу, чтобы запыхавшиеся кошки и мышки могли перевести дух и прохладиться мороженым. Шувалов

не замедлил присоседиться к Лили и начал, не то шутя, не то уже серьезно, говорить ей любезности.

— Перестаньте, пожалуйста, Петр Иванович! — сказала она. — Вы забываете, что я не Юлиана.

— Вы, Лизавета Романовна, как новая комета, вашим блеском совсем ее уже затмили.

— Знаете, Петр Иванович, мне хотелось бы вас хорошенько наказать!

— Попробуйте.

— Вам хочется быть наказанным?

— Вами? Да.

— Хорошо.

Порхнув через зал к Скавронской, она стала что-то ей нашептывать. Та, покосившись на Шувалова, лукаво усмехнулась и возгласила:

— Господа, прошу вас взять стулья и сесть в два ряда, да не слишком близко друг к другу.

— И мне тоже сесть? — спросил Шувалов.

— Нет, вы будете главным действующим лицом.

Когда все уселись, она попросила сидящих



вытянуть вперед ноги так, чтобы носками касаться носков своих vis-à-vis,[12] затем, обратясь к Шувалову, предложила ему перешагнуть через все эти ноги, никого не задев.

— Только-то? В чем же тут мудрость? — сказал он и по французской поговорке "faire bonne mine au mauvais jeu"[13] с комическими ужимками стал перебираться через протянутые с двух сторон ноги.

— Брависсимо! — похвалила его Скавронекая, когда он успешно выполнил задачу. — Дайте-ка сюда ваш платок и наклоните голову.

И она повязала ему платком глаза.

— Теперь извольте-ка пройти опять назад с завязанными глазами.

В то же время она сделала всем сидящим молчаливый знак, чтобы те убрали под стул свои ноги. Шувалов, воображая, что препятствия все те же, двинулся вперед с осторожностью слепца и без надобности высоко подымал свои ноги.

— Выше, выше! — предостерегала его Лили.

— Выше, выше! — подхватили другие.

И он подымал ноги все выше, подобно журавлю, вытаскивающему свои ходули из вязкого болота. Когда он наконец добрался так до конца, все участники игры разразились таким гомерическим хохотом, какой едва ли когда-либо прежде раздавался в стенах цесаревнина дворца.

Шувалов сорвал с глаз повязку и с недоумением огляделся кругом.

— Да ведь я же никому, кажется, не наступил на ногу?

— Еще бы наступили, когда все ноги были под стульями! — со смехом отвечала ему Скавронская.

Тут и сам он рассмеялся и отвесил Лили глубокий поклон:

— Grand merci, m-lle,[14] за науку.

— Что у них там такое? — заинтересовалась цесаревна, сидевшая на другом конце зала за ломберным столом со своим лейб-хирургом Лестоком и двумя камер-юнкерами — Разумовским и Воронцовым.

Положив карты на стол, она вместе со своими партнерами подошла к молодежи. Когда ей здесь объяснили причину общей весело-

сти, она взяла Лили за подбородок и звонко поцеловала.

— Ну, милая шалунья, что я говорила: научилась плавать?

# Глава десятая

## ГРОШ ЗА ЧЕЛОВЕКА

Камер-юнкеру Разумовскому, главному управляющему имениями цесаревны, приблизился в это время лакей с письмом на серебряном подносе. Приняв письмо и взглянув на адрес, Разумовский поморщился и, не распечатывая, положил письмо в карман.

— Что ж ты, Алексей Григорьич, не прочитаешь? — заметила Елизавета Петровна. — Может, что-нибудь важное.

— Это, ваше высочество, отписка от старшего приказчика рязанского имения, — отвечал Разумовский. — Лайдак так запутал счета, что сам царь Соломон не распутает.

— Ну, может статья, на сей раз и без царя Соломона обойдешься. Читай, не стесняйся.

Разумовский вскрыл отписку и стал читать, но чем далее читал, тем лицо его становилось все мрачнее.

— Ну, вже так! — пробормотал он сквозь зубы. — Щоб тебе пекло та морило!

— Что же, опять никакого толку? — спро-

сила цесаревна.

— Ажничогошенько! Лисьим хвостом все следы замечает.

— Так, знать, тебе самому уж придется туда съездить.

Происходя, как известно, из простых хохлов, Разумовский, несмотря на свое придворное звание, не совсем еще отвык от своих первобытных манер и поскреб пятерней в затылке.

— Коли будет такова воля вашего высочества... — проговорил он. — Но один, кажут, в поле не воин, как бы не вышло шкоды (убытка)...

— Так возьми себе доброго помощника.

— Я мог бы указать вполне надежного и знающего молодчика, — вмешался тут Воронцов. — Он до всего доведается, все вызнает.

— Кто ж это такой?

— А не безызвестный вашему высочеству крепостной человек вот графа Миниха, Самсонов, тот самый, что был командирован за мной курьером в Новгородскую губернию. На обратном пути оттуда он больше прежнего еще полюбился мне: малый не по возрасту

рассудливый, в деревенском хозяйстве сведущий, как мне и не чаялось. Спросите самого графа: все прошлое лето Самсонов заправлял ведь хозяйством в его лифляндском имении.

Стоявший тут же молодой Миних, судя по выражению его лица, был не очень-то доволен непрошеной рекомендацией Воронцова, но ему ничего не оставалось, как подтвердить эту рекомендацию.

— А счета вести он тоже умеет? — спросил Разумовский.

— Умеет.

— О це добре! Ваше высочество! Кабы совсем купить вам у графа сего человечка?

— *En effet, mon cher comte,*[15] - обратилась цесаревна к Миниху, — уступите мне его, ну, пожалуйста!

— Простите, ваше высочество, — извинился Миних. — Он исполняет у меня теперь обязанности домашнего секретаря...

— О! Так он силен и по письменной части? Нет, милый граф, как вам теперь угодно, вы должны отдать мне его. Ведь сами вы владеете им очень недавно?

— Еще два года назад Самсонов был моим

камердинером, — заметил Шувалов.

— Пока вы его не проиграли в карты покойному Волынскому! — досказала с укоризной Елизавета Петровна. — А от Волынского, граф, он перешел уже прямо к вам?

— К моему отцу.

— За какую сумму?

— У него с Волынским были какие-то старые счета...

— А ваш батюшка отдал вам Самсонова в полную собственность уже без всяких условий?

— Да, он подарил мне его.

— От вас принять его в виде подарка я, понятно, не желаю. Но вы сами сейчас слышали, как туго поступают мои ресурсы. Так будьте великодушны, граф, назначьте за него божескую цену! — добавила цесаревна со своей обворожительной улыбкой.

Зачаровала ли его эта улыбка или вспомнилась ему известная всему свету скарденность его отца-фельдмаршала, но молодой обер-гофмейстер правительницы выказал необычайное бескорыстие.

— Один грош у вашего высочества, навер-

но, все-таки найдется? — сказал он.

— Один грош? Вы отдаете мне бесценного для вас человека за грош?

— Я закажу для этого гроша золотую оправу и буду носить его на часах...

— В виде брелока?

— Нет, в виде талисмана.

Цесаревна посмотрела в глаза его глубоким взглядом, точно желая разгадать, что кроется за этими словами, произнесенными с каким-то особенным ударением. И, должно быть разгадав, протянула ему для поцелуя руку.

— Благодарю вас, граф! Талисман вам, надеюсь, однажды пригодится. Но есть ли у меня еще грош?

Она раскрыла висевший у нее на руке бирюзовый мешочек, где, кроме батистового платочка, у нее находился и кошелек с деньгами для расплаты с партнерами.

— Представьте себе! — сказала она, высыпав на ладонь содержимое кошелька. — У меня здесь только серебро да червонцы. Не возьмете ли вы, граф, червонец?

— Ни за что, ваше высочество! — реши-



тельно отказался Миних.

— Так серебряный пяточок?

— Нет, пожалуйста мне медный грош.

— Какой вы, однако, педант!.. Господа! Может быть, у вас у кого-нибудь найдется медный грош?

Но ни у кого из окружающих придворных людей не оказалось медных денег.

— У меня-то есть грошик, — сообщила Лили шепотом своей подруге, — но мне не хотелось бы отдавать его...

— Почему?

— Он совсем новенький, и я спрятала себе его на счастье.

— Да, может, теперь-то он и принесет тебе счастье? Вот у Лили есть заветный грошик, — заявила она вслух, и Лили волей-неволей пришлось расстаться со своим грошиком.

— Когда-нибудь я воздам вам за него сторицей, милая Лили, — сказала цесаревна и передала блестящую медную монетку Миниху. — С вами, граф, мы стало быть, в расчете.

— А когда она с тобой будет рассчитываться, — заметила Скавронская тихонько Лили, — то потребуй расплаты уже не деньгами,

а натурой.

— Как натурой?

— А так: самим Гришей.

— Что ты опять ей нашептала, егоза? — спросила Елизавета Петровна. — Смотри-ка, смотри, как ее в жар бросило!

— Я посоветовала ей только не продешевить при расплате, — отвечала Скавронская.

Лили, сделавшись центром общего внимания, была готова сквозь пол провалиться.

— Ах вы дети, дети! — улыбнулась цесаревна. — Придет время, моя душечка, так я с вами расплачусь по совести, будьте покойны.

# Глава одиннадцатая У СТАРИКА-ВОЗНИЧЕГО БРАЗДЫ УСКОЛЬЗАЮТ ИЗ РУК

**В**тяжкой болезни фельдмаршала Миниха наступил поворот к лучшему, но поправлялся больной очень медленно.

Тем временем враги его не дремали. Не находя прямого доступа к правительнице, занятой пока своими собственными делами, они через посредство ее супруга, не менее простодушного, подкапывались под человека, доставившего ей регентство.

— Это сам Бог покарал старика! — говорил принцессе принц-супруг в присутствии ее двух фавориток. — Я для него точно и не суще-че-че-чествую.

— Но не сам ли он предложил назначить ваше высочество генералиссимусом? — позволила себе Юлиана вступить за свекра своей сестры.

— А иезуитскую оговорку в указе вы, баронесса, забыли?

— Какую оговорку?

— Что генералиссимусом, по своим заслугам, должен бы быть по-настоящему он, Миних, мне же он уступает это звание как отцу императора (понимаете: только как *отцу*, а не за мои собственные заслуги)! И это распубликовано на всю империю!

— Но ведь все это, друг мой, совершенно верно, — не удержалась возразить тут Анна Леопольдовна, у которой, при всем добродушии, невольно прорывалось временами пренебрежение к навязанному ей, немилому супругу.- *Entre nous soit dit*, [16] - какие твои заслуги?

— Какие! — вскипятился еще пуще Антон-Ульрих. — Если ты так близорука, то я тебе не надену очков, для этого я слишком скромн. Но прежде чем арестовать Бирона и провозгласить тебя правительницей, почему он не посоветовался со мной, не велел даже будить меня...

— Потому что ты, по обыкновению, только бы напутал.

— Ну да! Вы оба с ним чуяли, что нашлись бы желающие призвать к регентству кое-кого

другого.

— Уж не тебя ли?

— Да хоть бы и меня? Ты — императору мать, я, — отец. Уж не воображаешь ли ты, что управлять государством будешь искуснее меня?

— Ничего, мой милый, я не воображаю. Знаю одно: что по происхождению я — русской царской крови, а в твоих жилах течет одна немецкая кровь. Стало быть, для русского народа ты такой же чужой, каким был Бирон. А что касается твоего ума...

— Пожалуйста, без сравнений! — перебил принц. — Спорить теперь все равно бесполезно: что сделано, то сделано. Тебе присягали, пускай же ты номинально считаешься регентшей, пока сынок наш подрастет. Но я-то, супруг твой, во всяком случае имею неоспоримое право быть твоим первым советчиком, потому что сына нашего мы любим одинаковой родительской любовью, одинаково желаем видеть его потом счастливым на царском престоле. А Миниху я все-таки не прощу-чу-чу-чу!.. Хоть бы он поскорее издох!

— Какие у тебя выражения, какие нехри-

стианские мысли! Желать своему ближнему смерти...

— Какой он мне ближний! Ну, да хорошо, хорошо, пускай себе выздоравливает. Но болезнь его чрезвычайно серьезна и затянется, конечно, надолго. А государственные дела не ждут, мы с тобой дилетанты, и одни с ними не справимся. Значит, на подмогу надо взять человека вполне опытного, государственного.

— О ком это говоришь ты? Уж не об Остермане ли?

— А то о ком же? Миних, бесспорно, отличный полководец, но в гражданских порядках такой же профан, как и мы с тобой. Остерман же в них, по русской поговорке, собаку съел.

— Но он такой неаппетитный! — с брезгливой миной; возразила принцесса.

— То есть как неаппетитный? Напротив того, он известный гастроном: стол у него всегда преотменный...

— Да я не о столе! Он такой неопрятный: вся грудь в пятнах, нос в табаке... Потом, он вечно кашляет, плюется, а вдобавок еще гри-масничает...

— Так кто же заставляет тебя с ним встре-

чататься?

— А то как же?

— Предоставь это мне.

— Тебе?

Анна Леопольдовна вопросительно оглянулась на свою статс-фрейлину.

— Вы забываете, принц, — заметила Юлиана, — что граф Остерман хронически страдает подагрой и кашлем, много лет уже он почти не выезжает из дому.

— Да он не отказывается, я уже зондировал почву.

— Как! Не предупредив меня? — воскликнула принцесса.

— Зачем было тебя, моя милая, понапрасну беспокоить? Но раз он согласен, то ты должна уже лично выразить ему свое желание. Когда ты примешь его?

— Ах, Господи! — вздохнула Анна Леопольдовна. — Все равно... хоть завтра.

— Простите, принцесса, — вмешалась снова Юлиана. — Устранить этак графа Миниха, не переговорив даже с ним, как хотите, совсем неудобно. Вы ему слишком обязаны, и заболел он именно при аресте Бирона.

— Верно-то верно... — тотчас согласилась принцесса. — Но как же быть-то? Я его ведь не видела...

— Пока он был при смерти, вам, конечно, нельзя было его видеть, но теперь он настолько уже поправился, что доктора позволяют посторонним навещать его.

— Так ты полагаешь, что мне следовало бы самой навестить его?

— Да, ваше высочество, и не откладывая. А так как у вас будет с ним такой деликатный разговор, то, чтобы последним вниманием хоть смягчить впечатление, поезжайте уж к нему со всем вашим штатом.

— Будь так! — вздохнула принцесса. — Завтра же едем.

Хотя больной фельдмаршал был видимо еще очень слаб, однако принял гостей в мундире и стоя. У нерешительной Анны Леопольдовны, пожалуй, так и не достало бы мужества затронуть щекотливую тему об умалении его власти, если бы сам Миних не попросил ее уделить ему несколько минут аудиенции. Вся свита правительницы удалилась, оставив их вдвоем.



Аудиенция продолжалась действительно не более десяти минут. Но вышла принцесса от своего первого министра пунцовая как пирог и, не дав даже другим проститься с хозяином, заторопилась домой. Сидя же в карете вместе с Юлианой и Лили, она дала волю своему негодованию:

— Это невыносимо! Читает мне нотации, точно я малолетняя!

— Да что же он говорил вашему высочеству? — спросила Юлиана.

— Прежде всего он хотел знать, чем я одарила каждого из приближенных людей тетюшки. На это я ему сказала, что память тетюшки мне священна, и я никому не позволю требовать от меня отчета в этих подарках. Он как будто обиделся, но продолжал допрос, правда ли, что, когда Позье выламывал мне бриллианты из старых ожерельев и браслетов тетюшки, я все золото от этих вещей и мелкие бриллианты подарила Позье.

— Вот видите ли, ваше высочество! Я тоже вас тогда останавливала. И что же вы отвечали фельдмаршалу?

— Что все эти вещи вышли из моды, что

носить их я все равно бы не стала и что Позье еще недавно устроил свою собственную мастерскую, так как же было не поддержать его. Тут он стал допытывать, на что я употребила все крупные бриллианты и правда ли, что я велела сделать себе из них новое ожерелье. "Правда, — сказала я, — но у герцогини Бирон одно жемчужное платье стоило 400 тысяч, а бриллиантов она надевала на себя на 2 миллиона, поэтому мне в начале царствования скаредничать не приходится. Но 226 небольших бриллиантов (я нарочно их сосчитала) — прибавила я в скобках, — пошли на украшение образа Грузинской Божией Матери". Возражать против моей набожности он уже не смел, однако все же напомнил мне, что русские финансы сильно потрясены вследствие безрассудной расточительности Бирона и что мне следовало бы быть вообще бережливее. А сам ведь, этот Гарпагон,[17] не отказался принять те семьдесят тысяч на украшение своего дома, которые я ему назначила сверх первых ста тысяч!

Юлиана, одаренная очень щедро, не нашла уже аргументов для защиты корыстолюбия

фельдмаршала. Сидевшая же в карете Лили по своей житейской неопытности прямо брякнула:

— Но ведь старик Миних избавил ваше высочество от Бирона. Так будьте уж с ним снисходительней!

— Из благодарности? А благодарность, по-твоему, приятное чувство? При всякой встрече с человеком повторять себе: "Ты его должница, а потому все его горькие пилюли глотай со сладкой улыбкой". А этого я не могу и не хочу! С кем бы мне еще посоветоваться?

— Ваше высочество дорожите также, кажется, мнением Мардефельда, — заметила Юлиана. — Он в этом вопросе может судить беспристрастнее нас.

— А что ж, и в самом деле. При первом же случае поговорю с ним.

Случай представился 23 декабря, на похоронах усопшей императрицы Анны Иоанновны. Когда прусский посланник барон Мардефельд, подойдя к правительнице, выразил удивление, что не видит фельдмаршала графа Миниха, который, как слышно, почти уже оправился от своей болезни, принцесса пожа-

ла плечами и вполголоса спросила:

— А что, барон, скажите-ка мне откровенно: какого вы мнения о фельдмаршале?

Мардефельд быстрым взглядом удостоверился, не может ли его еще кто-нибудь услышать, и отвечал затем, понизив также голос:

— Фельдмаршал ваш достоин всякого уважения: он необыкновенно трудолюбив, имеет редкий талант к военному делу и обладает большим красноречием.

Посланник сделал маленькую паузу.

— Это его положительные качества, — сказала Анна Леопольдовна. — А отрицательные?

— Отрицательные?.. Хотя он бесспорно и умен, но ум у него поверхностный, неглубокий и о государственных делах, о дипломатии у него, по-видимому, самые элементарные понятия...

— Если это говорите вы, барон, такой дипломат... И что же еще?

— Еще... говорили мне, будто он страдает неизлечимой болезнью, которую древние римляне называли *splendida avaritia*. [18]

— А в переводе на обыкновенный язык?

— Пышная скупость.

— Вот это верно! *Avarice splendide*. Он скуп как никто, если дело касается других, а на себя самого пышности и блеску не жалеет. Благодарю вас, барон, от души. Теперь знаю, как поступить.

И в тот же день принцесса объявила супругу-принцу, что готова принять Остермана.

— Давно бы так! — воскликнул Антон-Ульрих. — Теперь мы заведем не ту уже музыку.

— Так первым капельмейстером в государственном оркестре отныне будет принц? — с иронией заметила Юлиана после его ухода. — Ваше высочество все забываете, что за принцем стоит Остерман. Принц будет не более, как ширмой, послушным орудием в его руках. Смотрите, как бы вместо бироновщины не нажать нам остермановщины!

Опасения дальновидной статс-фрейлины вскоре оправдались.

# Глава двенадцатая ОСТЕРМАНОВЩИНА

Какими судьбами Остерман, незнатного рода иноземец, достиг одной из высших государственных должностей в России и графского титула, ни для кого при дворе не было тайной. Родившись в 1686 году в Эссене в Вестфалии, в семье бедного лютеранского пастора, Генрих-Иоганн-Фридрих, а по-русски Андрей Иванович Остерман, будучи студентом Иенского университета, имел несчастье убить на дуэли другого студента и бежал в Голландию. Здесь, благодаря своему раннему развитию и образованию, он был взят адмиралом русской службы, голландцем Стрюйсом, в свои личные секретари. Петр Великий, встречая даровитого юношу у Стрюйса, обратил на него внимание и предложил ему место переводчика и толмача в посольской канцелярии. Проходя ряд должностей, Остерман выказал себя искусным дипломатом и в 1721 году за удачное заключение Ништадтского мира был пожалован чином тайного советни-

ка и званием барона да, сверх того, был награжден еще щедро деньгами и поместьями. Когда новый барон, в числе других награжденных, предстал перед великодушным монархом, чтобы принести свою всенижайшую благодарность, Петр его обнял, расцеловал и вызвался быть его сватом:

— Ну, Андрей Иваныч, теперь ты и знатен и богат. Но в России у нас ты все же не свой еще человек: нет у тебя именитых родственных связей. Хочешь, я сосватаю тебе знатную невесту?

Остерман отвечал, что был бы безмерно счастлив. Так ему была сосватана красавица дочь богача стольника, родственного с царским домом, Марфа Ивановна Стрешнева, которая затем, в 1725 году была пожалована Екатериной I в ее статс-дамы. Сам барон Остерман в том же году был назначен вице-канцлером, а потом и обер-гофмейстером великого князя Петра Алексеевича (с 1727 года императора Петра II), с воцарением же Анны Иоанновны возведен и в графское достоинство. Многообразные перемены в высших сферах не поколебали его положения при дво-

ре, а почему? — всего виднее из отзывов о нем некоторых, знавших его лично, современников.

"Граф Остерман, — характеризует его в своих «Записках» Манштейн, — был, бесспорно, одним из величайших государственных людей своего времени. Он подробно изучил и отлично понимал политику всех европейских государств. Быстрота соображения и обширный ум соединялись в нем с редким трудолюбием и способностью скоро и легко работать. Бескорыстный и неподкупный, он никогда не брал подарков от иностранных дворов без разрешения русского правительства. Однако, с другой стороны, он был слишком недоверчив и подозрителен, не терпел не только высших, но и равных себе, если они в чем-либо его превосходили... В затруднительных обстоятельствах он избегал высказывать свое мнение и обыкновенно притворялся больным. Благодаря такой тактике ему удалось удержаться при шести разных правительствах. Он имел особенную манеру выражать свои мысли, так что немногие могли похвалиться, что понимали его. Часто иностранные послы,



после продолжительной беседы с ним, уходили из его кабинета, не узнав ровно ничего. Все, что он говорил или писал, можно было понимать двояким образом. Хитрый и скрытный, он умёл владеть собой и, если встречалась в том надобность, мог казаться растроганным до слез. Он никогда не смотрел ни на кого прямо, опасаясь, чтобы глаза не выдали его душевных помыслов".

Еще резче относительно отрицательных качеств Остермана выражался тогдашний французский посланник при нашем дворе, маркиз де ла Шетарди:

"Граф Остерман слывет за самого хитрого и двуличного человека в целой России. Вся его жизнь есть нечто иное, как постоянная комедия. Каждый решительный переворот в государстве доставляет ему случай разыгрывать различные сцены, занятый единственно мыслью удержаться на месте во время частых дворцовых бурь, он всегда притворно страдает подагрой и судорогой в глазах, чтобы не быть обязанным пристать к какой-либо партии. Тишина в правительстве есть для него лекарство, возвращающее ему здоровье".

Что Остерман действительно страдал застарелой подагрой, едва ли подлежало сомнению. Но он перемог свои телесные недуги, чтобы явиться на призыв правительницы.

— Мне совестно, граф, что побеспокоила вас, — начала принцесса (по обыкновению, по-немецки). — Но когда выздоровеет фельд-маршал Миних, — одному Богу известно, а у меня столько вопросов... Присядьте, пожалуйста.

— Я всегда к услугам вашего высочества, — отвечал Остерман, опускаясь в кресло и, от сопряженной с этим болью в ногах и пояснице, невольно закричал и скорчил обычную свою гримасу. — Какой вопрос вас прежде всего интересует?

— Прежде всего, конечно, штат малолетнего императора. Я поручила уже Левенвольде разработать этот штат, но сама я в этом так неопытна, что попросила бы вас помочь мне.

— Не замедлю переговорить с обер-гофмаршалом. Затем следующий вопрос?

— Следующий... У меня их так много... Ах, да! Вот что: Бирон все еще в Шлиссельбурге?

— В Шлиссельбурге. Верховный суд над

ним и его сообщниками еще не окончен.

— А его, вы думаете, строго осудят?

— Сколько до меня доходили слухи, его ожидает смертная казнь.

Анна Леопольдовна перекрестилась.

— О, Бог мой! Разве он так уж виноват? Нельзя ли как-нибудь смягчить его участь?

— От вашего высочества будет в свое время зависеть именем вашего державного сына уменьшить наказание.

— До какой степени?

— До ссылки в Сибирь.

— Но и в ссылке жить ведь ужасно! Оба они — и герцог и герцогиня так привыкли к комфорту...

— Все, что возможно будет сделать в этом отношении, ваше высочество, будет сделано.

— Назначьте им порядочную сумму на содержание, дайте им с собой людей, к которым они привыкли, и непременно двух поваров.

— Двух?

— Да, на случай, что один захворает. Герцог такой ведь охотник хорошо поесть. Потом и насчет духовной пищи, вся семья его ведь лютеране. А в Сибири вряд ли найдется люте-

ранский пастор.

— Мы дадим им отсюда с собой и пастора.

— Как я вам благодарна, граф! Теперь я, по крайней мере, буду спокойна.

— У вашего высочества есть еще вопросы?

— Это были два главных. Теперь скажите мне, как нам быть с государственными делами во время болезни нашего первого министра?

Остерман, казалось, только и ожидал этого вопроса. Открыв свою золотую табакерку с портретом покойной императрицы и угостив себя доброй понюшкой, он чрезвычайно тонко, но вразумительно развил мысль о том, что как внутренние, так и внешние интересы России и всего русского народа могут пострадать непоправимо вследствие болезни главы кабинета.

— Вам, граф, конечно, лучше судить, чем мне, — проговорила Анна Леопольдовна, отодвигаясь со своим креслом, когда ее собеседник, отерев нос, встряхнул пропитанным табаком фуляром. — Но ваша подагра лишает вас возможности часто выезжать из дому для личных мне докладов. Не укажете ли вы мне

какого-нибудь посредствующего между нами лица?

Принцесса втайне, быть может, надеялась, что у Остер-мана есть все-таки в виду еще какой-нибудь другой подходящий кандидат, кроме Антона-Ульриха, но Остерман, не задумываясь, назвал ей принца-супруга, и она скрепя сердце выразила свое согласие.

Антон-Ульрих принадлежал к числу тех малоодаренных людей, которые очень туго усваивают чужие мысли, но, раз их усвоив, твердо уже уверены в своей правоте и держатся «своего» мнения с непоколебимым упорством. Если же кто смотрит на дело с другой точки зрения, то его и слушать не стоит: он все равно ведь не прав.

Нечего, конечно, удивляться, что принц-посредник в самое короткое время совершенно подпал под влияние хитроумного и льстивого дипломата, умевшего всякому делу придать такой оборот, будто бы первая мысль блеснула в собственном мозгу Антона-Ульриха. В совещаниях их принимали нередко участие третий кабинет-министр князь Черкасский и вице-канцлер граф Головкин. Но те

только поддакивали Остерману. А в заключение всякого такого совещания, подобно Катону, не пропускавшему ни одного заседания в римском сенате без своей исторической фразы: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" ("впрочем, Карфаген, я полагаю, должен быть разрушен"), Остерман устами принца приходил к одному неизменному выводу: "А Миниха все-таки следовало бы убрать!"

К середине января нового, 1741 года здоровье фельдмаршала настолько уже окрепло, что позволяло ему заниматься опять обычными делами, принимать на дому у себя своих сочленов по кабинету. Вдруг курьер привозит ему именной указ: впредь по всем делам сношаться с генералиссимусом, принцем Антоном-Ульрихом, да не простыми письмами, как было до сих пор, а по строго установленной форме.

Для Миниха не могло быть сомнения, с чьей стороны нанесен ему этот удар: от своего сына, обер-гофмейстера правительницы, он уже слышал, что Остерман, по годам не являвшийся при дворе, имел аудиенцию у

принцессы, а затем ежедневно совещается у себя с ее супругом.

— Дайте мне только встать на ноги, — говорил старик, — повидаться опять с самой принцессой...

Но еще до того, 28 января, ему был прислан новый указ о том, чтобы каждому министру заведовать только своею частью: так "первому министру, генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху, ведать все, что касается до всей сухопутной полевой армии, всех иррегулярных войск, артиллерии, фортификации, кадетского корпуса и Ладожского канала, рапортуя обо всем том герцогу брауншвейг-люнебургскому".

В разъяснение же такого указа он узнал от Юлианы Менгден, как относится к нему принц Антон-Ульрих, заявлявший во всеуслышанье, что хотя он, принц, и чувствует себя в некотором долгу у фельдмаршала, но не намерен преклоняться перед ним, как перед верховным визирем, а будет держать его и в военном деле под своей командой.

Глубоко оскорбленный фельдмаршал велел заложить себе карету, облекся в мундир

со всеми регалиями и поехал в Зимний дворец. Но правительница его даже не приняла, извиняясь недосугом, и адресовала его к своему супругу, который, дескать, во все дела посвящен лучше ее самой.

— Всему есть мера! — заявил тут Миних своим домашним. — Не будет меня, так они поймут, кого лишились.

И он послал во дворец прошение об отставке. Анна Леопольдовна была этим немало смущена, особенно перед Минихом-сыном, своим обер-гофмейстером. Она назначила фельдмаршалу определенный день и час для личных объяснений, встретила его очень приветливо и стала упрашивать ради Бога не оставлять ее, так как она чрезвычайно дорожит его опытностью и в дипломатии.

— Если я поручила ведать иностранные дела графу Остерману, — говорила она, — то затем только, чтобы облегчить вас: ведь военные ваши дела и без того займут у вас весь день.

Миних сдался, но под условием, чтобы ему не только считаться первым министром, но и быть таковым на самом деле с подчинени-



*ем ему всего кабинета.*

— Хорошо, хорошо... — согласилась правительница. — Дайте мне только немножко подумать.

"Подумать", однако, она предоставила опять-таки Остерману, а тот, «подумав» вместе со своими сообщниками, доложил, что при допросе в тайной канцелярии один из солдат, участвовавших при аресте герцога Бирона, проговорился, будто бы Миних подбил их, солдат, к этому предприятию призывом возвести на престол цесаревну Елизавету.

— Ну, я этому не поверю! — воскликнула принцесса.

— А я верю, — отозвался присутствовавший, по обыкновению, при докладе Остермана Антон-Ульрих.

— Не поверю, не поверю! — повторила Анна Леопольдовна. — Это клевета на моего верного Миниха, на мою добрую тетю Лизу.

— За что купил, за то и продаю, — сказал со всегдашней своей льстиво-почтительной уклончивостью Остерман. — Как относится к этому вопросу сама цесаревна, — мне, конечно, не известно. Знаю одно, что, когда выпу-

стили на днях из крепости заключенного туда покойного государыней вольнодумного архиепископа Феофилакта Лопатинского, — цесаревна навестила его на Новгородском подворье...

— Но освободили его ведь по моему же указу? А тетя помнит несчастного Лопатинского еще со времен своего отца.

— М-да. Он так и отвечал ей на вопрос, узнает ли он ее: "Ты — искра Петра Великого!" Цесаревна же заплакала и дала ему на лекарство триста рублей.

— А я дала бы шестьсот!

— Великодушные вашего высочества не знают границ. Оставимте пока в покое цесаревну и возвратимся к фельдмаршалу. Будучи сам искусным полководцем, он преклоняется перед военным гением прусского короля, Фридриха II, это, положим, понятно. Но, спрашивается, почему король, который, как известно, до скупости бережлив, посылает ему то и дело весьма ценные подарки?

— Вы, граф, слишком подозрительны. Ведь вот и моя Юлиана получила недавно от прусской королевы портрет с бриллиантами. Неужели отказываться от подарков столь вы-

соких друзей?

— По крайней мере, затруднительно, согласен. Но король Фридрих не далее как в декабре затеял войну из-за Шлезвига с императрицей австрийской Марией-Терезией...

— Покровительницей нашего брауншвейгского дома! — подхватил Антон-Ульрих. — Война самая неспра-пра-пра-праведливая...

— Ты-то хоть не мешайся с твоими комментариями! — досадливо перебила его супруга. — Граф прекрасно может обойтись и без них.

— Не будем входить теперь в обсуждение вопроса о том, которая из двух воюющих сторон стоит на более законной почве, — продолжал Остерман. — Вопросы войны решаются мечом, кто победит, тот и прав. Но при своем пристрастии к прусскому королю граф Миних может настоять на том, чтобы мы двинули наши войска на помощь пруссакам...

— На это-то я никогда не соглашусь! — вскричала Анна Леопольдовна.

— Теперь, принцесса, вы так думаете, потому что слышали только что резоны вашего августейшего супруга и вашего покорного

слути. А выслушаете Миниха, и поддадитесь его доводам. Характер у вас ведь мягкий, как воск...

— Но как же мне не выслушать сперва фельдмаршала?

— Чего еще выслушивать человека, который сам просится в отставку! — вмешался опять Антон-Ульрих. — Или ты тоже в заговоре с Фридрихом против покровительницы нашего брауншвейгского дома?

— Перестань с твоими глупостями!

— Итак, — заговорил снова Остерман, — ваше высочество тоже не можете не признать, что граф Миних, по глубокой приязни своей к королю прусскому, весьма опасен на высоком посту первого министра. А так как он и по внутренним делам государства не только не торопится, как подобало бы верно-подданному, исполнять все приказания ваши и принца-генералиссимуса, но, вопреки им, издает еще свои собственные приказы, то дальнейшее пребывание его на настоящем посту опасно и для блага России. Раз он подал по собственному побуждению просьбу об отставке, то нет ничего проще, как удовлетво-

рить его просьбу.

— Так вы, в самом деле, думаете?.. Но как же это сделать возможно деликатнее?

— Делается это по установленной форме. Вот, извольте видеть, его прошение. Вам надо надписать тут наверху одно только словечко: "Согласна".

Говоря так, Остерман обмакнул перо в чернила и подал его принцессе. В последний раз тихонько вздохнув, она приняла перо и надписала на прошении фельдмаршала знаменательное словечко.

Но честолюбивому принцу брауншвейгскому и этого показалось мало, чтобы вконец принизить ненавистного ему фельдмаршала, он, как генералиссимус, не предупредив даже принцессы, приказал указ об увольнении первого министра читать народу на всех столичных перекрестках с барабанным боем.

Нечего говорить, как такое публичное оскорбление должно было возмутить престарелого славного воина, а также всех его родных, в том числе и молодую его невестку, родную сестру Юлианы Менгден. Юлиана не преминула представить дело принцессе в воз-

можно ярком свете. Последствием была крупная семейная сцена между правительницей и ее супругом, который после этого целую неделю избегал быть с нею с глазу на глаз. Для смягчения нанесенной почтенному старику без ее ведома обиды Анна Леопольдовна со своей стороны предложила сенату извиниться перед фельдмаршалом за принца через особую депутацию из трех сенаторов, а потом, 16 февраля, сама побывала у него на "пребогатом трактаменте".

Таким образом, против самой правительницы у устранившегося из кабинета фельдмаршала не могло быть уже особенного недовольствия. Вдохновитель же Антона-Ульриха, Остерман, остался как бы вовсе в стороне. С этого времени никто не стоял уже на его пути. Номинально государством правила принцесса Анна, в действительности же регентствовал Остерман. На смену бироновщины, наступила остермановщина, далеко не столь жестокая, конечно, но столь же чуждая всему русскому.

# Глава тринадцатая

## СКАЗКА О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ

Сама правительница почти не испытывала на себе отрицательных сторон остермановщины, государственными заботами ее беспокоили лишь постольку, поскольку для проведения какой-либо коренной реформы или для исполнения судебного приговора требовалась ее санкция и собственноручная резолюция. Каждое такое дело докладывалось ей, правда, на словах, но то была одна формальность: слушала принцесса, как говорится, краем уха и, зевая в руку, нередко прерывала доклад совсем не идущими к делу вопросами. Очевидно, мысли ее витали еще в пределах того рыцарского романа, при чтении которого застал ее докладчик. По окончании же доклада она со вздохом облегчения располагалась на одной из своих четырех кроватей и раскрывала опять свой роман. Но и тут мысли ее не надолго сосредоточивались на фантазиях автора: дочитает главу и зажмурит глаза, чтобы

предаться собственным уже грезам.

Среди этих фантазий и грез, как в сказочном дворце спящей царевны, жизнь кругом как бы замерла. Великий пост в 1741 году начался очень рано — 9 февраля, а потому о каких-либо придворных балах и спектаклях не было и помину. По вечерам устраивалась карточная партия, но в самом тесном кругу.

Между тем среди этой наружной тишины в придворном мире начали ходить разные тревожные слухи. Чуткая к ним наперсница принцессы, Юлиана Менгден, не преминула обратить на них внимание своей госпожи:

— Позвольте, ваше высочество, занять вас сегодня немножко политикой...

— Опять эта политика! Политика! Политика! — проговорила Анна Леопольдовна скучающим тоном, и мускулы рта ее невольно подернуло зевотой. — Это буря в стакане воды.

— А наша жизнь теперь что такое? Стакан воды без бури. Но, не дай Бог, если вдруг налетать буря и опрокинет весь стакан!

— Ты, милая Юлиана, начинаешь, кажется, тоже фантазировать. Откуда взяться у нас буре?



— А ваше высочество не находите разве странным, что цесаревна Елизавета третий месяц уже к нам глаз не кажет?

— Что же в этом странного? Ей, как и мне, в Великом посту не до развлечений, она охотнее сидит дома...

— То-то вот, что она каждый день, слышно, разъезжает по гвардейским казармам, беседует с солдатами запросто как родная мать, угощает их, одаривает их жен, крестит у них детей, и вся гвардия давно уже величает ее не иначе как матушкой-цесаревной.

— Да, она умеет привлекать к себе все сердца.

— И отвлекать от вас.

— Ты что этим хочешь сказать, Юлиана?

— Цесаревна, ваше высочество, не забудьте, дочь Петра Великого...

— А я — внучка его старшего брата! Нет, она-то против меня наверное ничего не предпримет.

— Нет дыма без огня. Недаром супруг ваш намерен, говорят, заточить ее в монастырь.

— Опять эти глупые придворные сплетни! Да если бы у него и явилась такая дикая

МЫСЛЬ, то я этого ни за что не допущу.

— Покуда вы еще регентша.

— Что-о-о?!

— Ведь сам принц говорил вам, что думает принять православие.

— Да, и я очень этому рада. Сама я ведь православная, а супругам всегда лучше быть одной религии.

— Положим. Но переменить религию он хочет, говорят, вовсе не по внутреннему убеждению, а по настоянию Остермана.

— Да тому-то какое дело?

— Чтобы укрепить власть принца, когда он станет регентом.

— Ну, этому не бывать! — воскликнула правительница, выведенная наконец из своей апатии. — Но мне все еще как-то не верится...

— Так для чего же принц, скажите, бывает теперь ежедневно в сенате? Он готовится, очевидно, к роли регента.

— Нет, этому не бывать! — повторила принцесса. — Я просто запрещаю ему ездить в сенат.

В тот же день между ней и Антоном-Уль-

рихом произошло опять довольно крупное объяснение. Принц отрекся от возводимых на него напраслин и в заключение выговорил себе право ездить в сенат хоть два раза в неделю, чтобы не лишиться своего авторитета генералиссимуса.

Доверчивая Анна Леопольдовна могла погрузиться снова в свое сонное царство. Разбудил ее вторично в начале апреля месяца приговор верховного суда над Бироном и его сообщниками. Приговором этим сам Бирон и его бывший кабинет-министр Бестужев-Рюмин присуждались к четвертованию с отнятием в казну всего имущества движимого и недвижимого. Но правительница, именем малолетнего императора, заменила им смертную казнь пожизненной ссылкой: Бирону — в захолустный городок Тобольской губернии Пелым, а Бестужеву — в его родовую пошехонскую вотчину. Разжалобившись, она готова была оставить Бирону и его имущество, но лично докладывавший ей дело Остерман объявил, что такая поблажка государственному преступнику была бы беспримерна, что, со своей стороны, он, Остерман, сделает все, что

удобно ее высочеству для облегчения положения ссыльных: из сибирских доходов им будет назначено суточных по 15 рублей в день, а для личных услуг с ними отправляются в Пелым: два лакея, две женщины (арапка и турчанка), два повара и пастор.

— Вот за это я вам душевно благодарна, — сказала принцесса. — А пятнадцать рублей суточных, вы полагаете, им будет достаточно?

— За глаза, ваше высочество, — уверил Остерман. — В Сибири жизнь ведь необычайно дешева.

Но сам Бирон потревожил еще раз ее сказочный сон. В озлоблении на главных виновников его свержения и осуждения, он, при допросе, выгораживая себя, не посовестился припутать и их к своему процессу. Так была им набросана тень на фельдмаршала Миниха (аттестованного им как "персона, к российским честным людям и ко всей нации весьма злая"), на кабинет-министра князя Черкасского, на начальника канцелярии тайных розыскных дел генерала Ушакова, на обершталмейстера князя Куракина, на гене-

рал-прокурора князя Трубецкого, на обер-гоф-маршала графа Левенвольде и на президента коммерц-коллегии барона Менгдена. Всем им грозило судебное преследование.

— Да неужто ж я окружена одними злодеями! — ужаснулась Анна Леопольдовна, когда Остерман доложил ей оговоры Бирона.

— Не злодеями, ваше высочество, а людьми, — отвечал Остерман. — Все мы люди, все не безошибочны. Все зависит от освещения ошибок.

Находясь сам в добрых отношениях со всеми оговоренными, кроме устраненного уже и безвредного для него Миниха, он сумел представить их ошибки в таком благоприятном свете, что правительница тотчас согласилась не привлекать виновных к ответственности. Но Остерман признал все-таки излишним в высочайшем указе о том подчеркнуть их вину: "Хотя по оным явным обличениям, по силе прав государственных, надлежало о таком вредительном нам самим и нашим родителям и опасном всей нашей Российской империи деле вконец доследовать, однако мы по природному нашему великодушию из высо-

чайшей нашей императорского величества милости, вас во всем том прощаем, в том уповании, что впредь, по должности своей данной нам присяги, верно и истинно поступать будете и к таким бездельным вредительным делам приставать не станете".

Тут кроме острастки в будущем, прощенные, знавшие, конечно, кем редактировался указ, могли прочесть между строк: "Вот от кого ожидайте впредь и гнева и милости!"

А Анна Леопольдовна читала между тех же строк: "Вот кто стережет мой покой от врагов явных и тайных!"

И вдруг этот сладостный покой спящей царицы был нарушен — нарушен грезой наяву.

# Глава четырнадцатая

## ГЛАВА ИЗ РЫЦАРСКОГО РОМАНА

Дружественный трактат, заключенный русским правительством с королем прусским Фридрихом II, причинял немало хлопот венскому двору, и австрийский посланник в Петербурге, маркиз Ботта, тщетно напрягал все свое дипломатическое искусство к расторжению этого трактата. Взошедшая полгода назад на австрийский престол молодая императрица Мария-Терезия нашла к той же цели другой путь — чисто женский: где не имела успеха сила ума, там могла убедить еще логика сердца. Пять лет перед тем курфюрст саксонский и король польский вынужден был отозвать из Петербурга своего посланника, графа Карла-Морица Линара, присутствие которого признавалось небезопасным для душевного спокойствия семнадцатилетней наследницы российского престола, принцессы Анны Леопольдовны. Кто же, как не тот же Линар, мог бы всего вернее склонить ее те-

перь к перемене политики России? И вот, по тайному соглашению дворов, венского и дрезденского, посланником от этого последнего двора в Петербург в апреле 1741 года был неожиданно вновь назначен Линар.

При получении известия об этом Анну Леопольдовну, несмотря на ее лимфатическую натуру, охватило такое волнение, что ее первая советчица и первый друг Юлиана Менгден предложила ей дать конфиденциально знать Линару, что его прибытие в Петербург не желательно.

— Как не желательно! — воскликнула принцесса. — Я пять лет только и мечтала о том...

— Мечты и жизнь, ваше высочество, — две вещи разные, особенно для августейших особ. На вас, временную правительницу и мать царствующего императора, обращены взоры всей России, всей Европы...

— Ах, Юлиана! Мы говорим с тобой на разных языках. Какое дело России и Европе до идеального рыцарского романа...

— До замужества вашему высочеству было еще более или менее простительно мечтать



о рыцарском романе. Теперь вы замужем и мать царя...

— Ты, милая, я вижу, не имеешь ни малейшего понятия о том, что такое настоящий рыцарский роман. Каждый средневековый рыцарь выбирал себе на всю жизнь одну даму сердца, будь то незамужняя девица или замужняя женщина — все равно. Она была, так сказать, его мадонной, которой он поклонялся, которою вдохновлялся на свои рыцарские подвиги, с именем которой на устах умирал на турнире и в бою. Линар такой же средневековый рыцарь, рыцарь без страха и упрека. Мне стоит только закрыть глаза, как я вижу его уже плывущим на ладье по Рейну, сама я стою на высокой-превысокой башне рыцарского замка и машу ему с вышины платком, а он снизу машет мне в ответ своим пернатым шлемом.

— Теперь он, значит, будет плыть по Неве мимо Зимнего дворца, а вы будете ему махать платком с балкона? — не утерпела подшутить над мечтательницей Юлиана. — На беду, только Нева у нас на всю зиму замерзает. Правда, он может ездить мимо и на санях, но

ваше высочество, выходя в мороз на балкон, рискуете схватить насморк, а то и воспаление легких.

— В твоей душе, Юлиана, нет ни капельки романтизма! Я буду видеть его только при высочайших выходах и других торжественных случаях.

— Только?

— Чего же больше? Но чтобы тебя совсем успокоить, хочешь, я женю его на тебе?

— Что за шутки, принцесса!

— Нет, без всяких шуток. Женат он или нет, для меня решительно безразлично, да и для него тоже. Он останется моим верным падином, а я — его мадонной. Тебе же лучшей партии, право, не найти. Или он тебе не нравится?

— Как не нравится! Он, можно сказать, писанный красавец...

— Ну, вот. Я же, по крайней мере, буду гарантирована, что он останется при нашем дворе.

Несколько дней спустя новый саксонско-польский посланник представил правительнице свои верительные грамоты на офи-

циальном приеме. Теперь и Лили Врангель, находившаяся в свите принцессы, имела случай воочию увидеть этого средневекового рыцаря и писаного красавца.

Линару было уже тридцать восемь лет, но, благодаря своим светлым, с рыжеватым оттенком, волосам, женственно-нежному цвету кожи и стройному, гибкому стану, он казался молодым человеком. При разговоре с правительницей, он умел придавать своим аристократическим чертам, своим зеленовато-серым с поволокой глазам такую благородную томность, своему мягкому голосу такую вкрадчивую почтительность, что самые обыкновенные фразы в его устах приобретали как будто таинственный смысл.

— После столь долгого отсутствия вы, граф, не скоро привыкнете опять к нашему гиперборейскому климату, — заметила Анна Леопольдовна.

— Мысленно, ваше высочество, я все эти годы был в Петербурге, — отвечал Линар.

Но как это было сказано! С каким взмахом светлых, но длинных ресниц!

— Зиму вы, конечно, проводили в самом

Дрездене, — продолжала принцесса, — но лето, вероятно, в Саксонской Швейцарии? Ведь у вас там, есть, кажется, родовой замок?

Имелось ли у него там нечто подобное или ему не хотелось на первых же порах разочаровать правительницу, но он отвечал, что у него действительно есть близ Шандау на возвышенном берегу Эльбы старинный дом, который издали очень похож на рыцарский замок.

Анна Леопольдовна метнула на Юлиану торжествующий взгляд.

— То-то мне помнилось! И зубчатую стену омывает внизу бирюзовая Эльба...

Полет ее фантазии был неожиданно прерван прозаическим возражением принца Антона-Ульриха:

— Не бирюзовая, мой друг, а желтая, недаром говорят: "Elbe die gelbe-be-be".[19]

Досадливое движение плечами было единственным ответом принцессы на непрошеное вмешательство заики-супруга.

— А здесь, в Петербурге, граф, — обратилась она снова к Динару, — вы нашли уже себе подходящее пристанище?

— Самое подходящее: целое лето я буду иметь счастье дышать одним воздухом с вашим высочеством.

Горевший уже на щеках Анны Леопольдовны румянец вспыхнул еще ярче.

— Я вас, граф, не совсем понимаю...

— Мои окна выходят как раз на Летний сад, откуда ко мне будут доноситься благоухания ваших цветов и песни ваших птиц.

— Нынешнее лето, граф Линар, наслаждаться этим вам придется во всяком случае уже без нас, — сухо заметил опять Антон-Ульрих. — С прошлого года мы с принцессой проводим лето в Петергофе...

— Вопрос этот, мой милый, окончательно еще не решен, — прервала его молодая супруга.

— Как не решен? Сделаны уже все распоряжения...

— Всякое распоряжение может быть отменено. Все зависит оттого, какое будет лето.

Ждать до лета принцесса, однако, не нашла нужным. Как только откланялся посланник и сама она возвратилась в свои покои, к ней был вытребован ее обер-гофмейстер, Ми-

НИХ-СЫН.

— Вот что, милый граф, — обратилась она к нему, — в январе месяце вы докладывали мне о каком-то донесении скульптурного мастера Цвейгофа...

— Ваше высочество интересовались тогда мраморной статуей "Виктория против турок и татар", которую поручено сделать Цвейгофу, — отвечал Миних. — Белый мрамор для нее еще в прошлую навигацию выписан из Амстердама...

— Про эту статую я, признаться, уже забыла. Нет, Цвейгоф доносил о каких-то повреждениях в Летнем саду. Нельзя ли разыскать это дело?

— Сию минуту.

Дворцовая контора помещалась в нижнем этаже Зимнего дворца, и потому молодой обер-гофмейстер уже через несколько минут возвратился с подлинным донесением скульптурного мастера.

— Прикажете прочитать, ваше высочество, что доносит Цвейгоф?

— Да, будьте добры.

Летний сад состоял из трех отдельных са-

дов, из которых первые два, украшенные статуями, гротами были открыты для публики; третий же, находившийся на месте нынешнего Инженерного замка с его садом, служил для разведения фруктов и овощей для высочайшего стола, почему доступа туда посторонним лицам не было. Донесение Цвейгофа касалось двух первых садов, в которых, как оказалось, "в летнее время ходят множество всякого чина люди и ломают своевольно у статуй персты и прочие мелкие вещи, а в зимнее время не токмо всякого подлого народа ходят множество денно и ночью, но и ездят на лошадях в санях и тем ломают и повреждают у оных статуй мелкие вещи, также похищали чехлы и мешки".

— Что за безобразие! — возмутилась принцесса, выслушав донесение. — И что же предпринято против этого?

— Тут есть резолюция: "Должено ее высочеству правительнице. Повелено: оставить без движения впредь до особого приказания".

— Ну да, ну да... — пробормотала Анна Леопольдовна. — Я предполагала тогда провести все нынешнее лето в Петергофе, а при отсут-

ствии моем всякие починки были бы бесполезны: наш варварский народ за лето все опять перепортил бы...

— А теперь ваше высочество изменили ваше намерение?

— Да, на этой же неделе я переезжаю в Летний дворец и прошу вас, милый граф, сказать об этом Цвейгофу да и садовому мастеру Массе, чтобы к моему переезду все было там в исправности.

Три дня спустя высочайший двор действительно переселился на летнее пребывание из Зимнего в Летний дворец.

Хотя у Анны Леопольдовны, согласно новому придворному штату, и было теперь семь фрейлин, но ее confidentки — Юлиана Менгден и Лили Врангель — по-прежнему пользовались ее особенным расположением и доверием. В самый день своего переезда в Летний дворец она в их обществе совершила прогулку по всему Летнему саду.

Весна 1741 года была ранняя, погода теплая и солнечная. Поэтому, несмотря на начало мая, аллеи в двух первых садах почти совсем уже просохли, деревья кругом покры-



лись зеленым пухом, со всех сторон раздавалось щебетанье лесных пташек, а домашние водяные птицы весело плескались в прудах. Полною грудью вдыхая живительный весенний воздух, Лили с сладостной грустью вспоминала о своих детских годах, проведенных в деревне. Принцесса же и Юлиана более интересовались практическими вопросами: приделаны ли уже отбитые у статуй носы и пальцы и починен ли в большом гроте обер-мастером колокольной игральной музыки Ферстером орган, приводившийся в действие водою из большого пруда.

Вообще неохотница до всякого моциона Анна Леопольдовна, к удивлению Лили, распространила на этот раз свою прогулку и на третий сад, хотя там, кажется, нечем было любоваться. Между грядами там и сям стояла еще вода, но правительница мужественно шагала все вперед, пока не дошла до садовой ограды у Симеоновского моста.

— Так вот где он устроился... — проговорила она, мечтательно засматриваясь на двухэтажный каменный дом с открытым балконом, уставленным пальмами и другими цве-

тущими растениями.

В это самое время растворилась дверь балкона, и среди пышной зелени показался Линар в элегантном утреннем костюме.

Увидев принцессу, он отвесил ей глубокий поклон, она же, кивнув в ответ, тотчас повернулась к нему спиной и без оглядки ускоренными шагами пошла. Завернув за угол оранжереи, она схватилась рукой за сердце и остановилась.

— Что с вами, ваше высочество? — спросила озабоченно Юлиана.

— Так... сердцебиение. А у тебя самой разве нет?

Весь день затем Анна Леопольдовна была задумчивее обыкновенного, а вечером вызвала к себе опять молодого Миниха и просила его прислать к ней на другое утро придворного архитектора Растрелли.

— Вашему высочеству угодно сделать какую-нибудь перестройку в этом дворце? — спросил Миних.

— Н-нет... Я построю для себя новый Летний дворец.

— Но ведь и этот еще прочен?

— Да стоит-то не там, где мне хочется.

На следующее утро принцесса вместе с архитектором направилась снова в третий сад.

Знаменитый итальянский зодчий, богато одаренный творческим воображением, узнав, что ей желательно, наметил тут же место для нового дворца в несколько этажей с отдельной каменной кухней, флигелем для придворной прислуги и с гауптвахтой и живой рукой набросал на бумагу общий вид главного здания с изящной балюстрадой, с тремя фронтисписами и разными аллегорическими фигурами.

— Прелестно, прелестно! — восторгалась Анна Леопольдовна. — Вы, синьор Растрелли, истинный художник! У меня была бы к вам еще только маленькая просьба...

— Приказывайте, принцесса.

— Вот тут над крышей не выстроите ли вы мне зубчатую башню?

— Башню, да еще зубчатую! — ужаснулся Растрелли.

— Да, на манер, знаете, древних рыцарских замков.

— Нет, ваше высочество, это невозможно.

— Почему же нет?

— Положительно невозможно! Это противоречило бы общему стилю дворца.

— Ну, сделайте это в виде особого мне одолжения.

— И в виде особого одолжения, простите, не сделаю. Репутации моей я не смею портить антихудожественной постройкой. Лучше поручите уж дело кому-нибудь другому.

— Ах ты Господи! Какой вы, право, упрямый. Да понимаете ли, башня эта мне необходима, совершенно необходима!

— Для чего? Осмелюсь спросить.

— Для чего!.. Да видите ли... мне хотелось бы иметь сверху полный кругозор...

— Так я поставлю вам лесенку к верхней балюстраде. Оттуда можно будет видеть во все стороны.

— И через ту вон ограду?

— Разумеется, вниз по Фонтанке до самой Невской перспективы.

— А башни мне вы так-таки и не сделаете?

— Ни за миллион рублей, принцесса.

Анна Леопольдовна подавила глубокий вздох.

— Ну, что же делать, если вы так жестоко-серды! Устройте мне хоть лесенку.

На другой же день Растрелли получил от дворцовой конторы формальное предписание приступить к возведению нового дворца с крайним поспешением. Еще через день в третьем саду появились землекопы, а там стал подвозиться и строительный материал.

Не проходило с этих пор дня, чтобы правительница не совершила прогулки по третьему саду, сопровождали ее две фрейлины-фаворитки. У ворот туда был поставлен часовой, который не пропускал никого постороннего.

9 мая у фельдмаршала Миниха, по случаю дня его рождения, был большой бал с итальянским концертом, а 11 мая — у Миниха-сына крестины новорожденной дочери. Старик у Анна Леопольдовна послала золотую, осыпанную бриллиантами табакерку, а на крестины откомандировала своего супруга, выразив согласие быть вместе с ним восприемницей новорожденной, нареченной по обеим Анной-Ульрикой. Сама же она не тронулась из дворца. Кроме романов да карт, ее занимала теперь, казалось, только новая по-

стройка. За ломберным столом ее обыкновенными партнерами были прежде принц Антон-Ульрих и два посланника: австрийский — Ботта и английский — Финч. В середине мая явился еще новый партнер — саксонско-польский посланник, граф Линар, и с этого дня ни одна партия не обходилась уже без него. Но вел он себя вполне по-рыцарски, не позволяя себе никаких отступлений от придворного этикета, если же временами и вскидывал с карт свои выразительно томные взоры, то останавливал их на принцессе на один лишь миг, а затем вперял их уже на целую минуту, если не более, в устремленные на него глаза Юлианы, стоявшей неотступно за креслом своей госпожи. В июне месяце такая тактика стала для всех понятной: Линар просил руки Юлианы, и она, не задумываясь, дала ему свое согласие. До официального обручения, которое должно было состояться в августе, жених встречался с невестой в третьем саду, принцесса же гуляла, обыкновенно, от них отдельно, вдвоем с Лили.

— Как я довольна! — высказалась она ей как-то. — Смотри, как они оба счастливы!

— А он все-таки остается еще вашим рыцарем? — спросила Лили.

— Без страха и без упрека! У него ведь свой рыцарский девиз:

*A Dieu mon âme,  
Ma vie au roi,  
Mon coeur aux dames,  
L'honneur pour moi!*[20][21]

# Глава пятнадцатая В ОБРУЧИ И В ГОРЕЛКИ

День тезоименитства малютки-императора Иоанна Антоновича 24 июня праздновался в Летнем дворце большим банкетом, к которому была приглашена и цесаревна Елизавета. За полчаса до банкета явился один из ее камер-юнкеров, Пьер Шувалов, с извещением, что по внезапному нездоровью цесаревна, к сожалению своему, быть не может. Более самой принцессы была огорчена этим Лили Врангель, потому что цесаревну сопровождала всегда Аннет Скавронская. Когда наступил момент вести дам к столу, к Лили подошел Шувалов.

— По поручению вашей подруги, графини Анны Карловны, осмелюсь предложить вам руку.

Лили сделала вид, что не поняла его игры слов, и без возражений оперлась на его руку. За столом он прилагал все старания, чтобы занять ее. Так, между прочим, он сообщил ей про сидевшего недалеко от них графа Линара,



что тот по происхождению итальянец, но предки его еще двести лет назад переселились в Германию.

— Оттого-то у него и волосы уже так посветлели! — заметила Лили. — Да и цвет кожи совсем как у молодой девушки.

— А известно ли вам, чем достигается такой нежности кожа? — спросил Шувалов.

— Чем?

— Особой парижской помадой. Он на ночь вымазывает себе этой помадой и лицо, и руки, а потом надевает еще маску и перчатки.

— И спит так всю ночь в маске и перчатках! Да вы, Петр Иванович, это не сочиняете?

— Нет, я узнал это из самого верного источника. Но зато ведь полюбуйтесь: как хорош!

— После этого я на него просто глядеть не могу!

— И не смотрите: это волк в овечьей шкуре.

По окончании банкета правительница вышла на стеклянную галерею, где для нее и ее избранных партнеров был уже раскрыт ломберный стол, тут же у открытых окон подышать свежим воздухом уселись и пожилые царедворцы. Молодежь же спустилась в сад,

чтобы на площадке под галереей поиграть в модную тогда игру «серсеаух» (обручи). Лили научилась этой игре еще у своих родных в Лифляндии и выказала себя теперь настоящей мастерицей. Зорко следя за взлетавшими над нею обручами, она подхватывала их своей палкой и бросала дальше с естественной грацией, плавно, то приподнимаясь, то опускаясь на цыпочках, наклоняясь своим гибким станом то вперед, то назад. При этом невинное, хорошенькое личико ее светилось таким оживлением и неподдельным удовольствием, что участвовавшие в игре кавалеры невольно на нее заглядывались, а один из них не утерпел бросить ей не в очередь свой обруч:

— Мадемуазель Врангель, ловите!

Она порхнула навстречу обручу и, поймав его, с тою же ловкостью метнула обратно. Тут ее окликнули уже с разных сторон: "Мадемуазель Врангель! Мадемуазель Врангель!" и почти одновременно над нею взвилось четыре обруча.

Она не растерялась и, точно фехтуя рапирой с несколькими противниками, поспела

нанизать На свою палку три обруча, а четвертый захватила на лету свободной левой рукой.

— Вы — сильфида, мадемуазель Врангель! Вам первый приз! — услышала она сверху звучный мужской голос.

Она подняла голову. С галереи ей благоклонно кивал и улыбался не кто иной, как златокудрый, светлолицый Линар.

"Волк в овечьей шкуре", — припомнилось ей предостережение Шувалова, и по спине ее невольно пробежали мурашки, как в предчувствии чего-то недоброго. Но задумываться над этим ей не дали летевшие к ней все новые и новые обручи, требовавшие ее внимания. Так она и не заметила бы, стоявшего уже некоторое время в стороне под навесом деревьев, просто одетого, молодого человека, если бы на него не указал Шувалов:

— Да вон, никак, Самсонов! Как его впустили сюда и что ему нужно?

— Он, верно, только что вернулся из поездки с Разумовским... — пробормотала Лили.

— И желает тотчас представиться своей молочной сестрице? — досказал насмешливо

Шувалов. — Прикажете спросить его?

— Да, пожалуйста.

Минуту спустя он вернулся назад от Самсонова с надушенным письмецом:

— От вашей подруги.

— Может быть, требуется ответ?.. — проговорила Лили и тут же вскрыла письмо.

— Что-нибудь интимное? — спросил Шувалов, видя, как лицо молодой барышни залило огнем.

Письмо действительно было интимного содержания:

"Ты не поверишь, душечка Лили, как мне досадно, что опять должна упустить случай поболтать с тобой. Вместо себя, посылаю к тебе, по крайней мере, твоего Гришу, с которым ты не виделась ведь еще гораздо дольше. По скромности своей он, разумеется, не станет хвастаться перед тобой своими счетоводными подвигами. Но Разумовский им просто не нахвалится: "Хлопец дуже умный, звычайно сметливый, говорит, бодай его сей та той! В трех имениях, говорит, вывел плутни приказчиков на чистую воду". Так вот он каков, твой Гриша! Как жаль, право, что он из простых.

Твоя Аннет".

Наскоро дочитав, Лили скользнула взором в ту сторону, где сейчас только стоял Самсонов, но его там уже не было. Да ей было и не до него: приходилось опять ловить обручи и отсылать далее.

Тем временем за вечерело и небо заволокло темными тучами. В густой листве деревьев засветились цветные фонарики блестящей иллюминации, но света их было все-таки недостаточно, чтобы хорошенько различать в вышине взлетающие обручи. Игру волей-неволей пришлось прекратить.

— Неужели, Петр Иванович, мы войдем уже в комнаты! — заметила с сожалением Лили. — На воздухе так чудно тепло...

— А что нам тут делать?

— Да хоть поиграть в горелки.

— Господа! Не угодно ли в горелки?

На той же площадке перед дворцом все выстроились попарно колонной. При возгласе: "Птички летят!" — задняя пара вылетала вперед. Быстрою полета выделилась вскоре опять-таки Лили, и никому из «горевших» не удавалось нагнать ее. Тем чаще зато приходи-

лось «гореть» ей самой, и тем охотнее многие из кавалеров давали ловить себя, особенно Шувалов.

Она стояла с ним опять в паре в конце колонны, когда сзади примкнула к ним новая пара — Юлиана и Линар.

Когда до них дошла очередь бежать, Линар предоставил «горевшему» ловить Юлиану, сам же преспокойно стал на его место.

— Что это значит? — удивилась Лили. — Он, видно, считает себя слишком важным, чтобы бегать?

— Нет, не то, — отвечал Шувалов, — он как будто сберегает силы, чтобы нагнать вас.

— Ну, нет! Ему-то я уже не дамся.

Догадка Шувалова оправдалась: когда Юлиана была схвачена, Линар через плечо оглянулся назад.

— Граф Линар, не оглядываться! — крикнула ему Лили, а потом шепотом предложила Шувалову: — Переменим-ка местами.

Как только Линар хлопнул в ладоши, оба побежали. В первый момент Линар рванулся было в ту сторону, откуда ожидал появления Лили. Но он тотчас заметил свою ошибку, и

вместо того чтобы преследовать Лили, побежал между ней и Шуваловым, чтобы не дать им соединиться. Так все трое бежали все время рядом, пока не достигли большого грота.

— Обежимте кругом! — закричал по-русски Шувалов.

Лили без оглядки завернула за угол грота, Линар же, нагнав Шувалова, не схватил его руками, а толкнул плечом с такой силой, что едва не сшиб его с ног.

— Mille pardons, monsieur![22] — извинился он и полетел дальше навстречу Лили.

С разбегу она не имела уже возможности уклониться в сторону и чуть не угодила в его раскрытые объятия.

— Voilà,[23] - сказал он с торжествующей улыбкой и, взяв ее за руку, повел обратно ко дворцу.

# Глава шестнадцатая ДОИГРАЛАСЬ!

Очередь «гореть» была за Шуваловым. Но он повторил маневр Линара: пропуская мимо себя пару за парой, он для виду делал несколько шагов вслед за бегущими и становился затем опять "гореть".

"Он тоже хочет погнаться за мной, но я убегу от обоих", — решила Лили.

— Нам бежать, граф Линар. Раз! Два! Три! Они побежали.

"Убегу! Убегу на край света!" — говорила себе Лили, улетающая быстрее ветра.

Шувалов не замедлил пуститься в погоню за ней. Она свернула с большой аллеи через лужайку к оранжереям. Здесь она вынуждена была обогнуть цветочную клумбу. Шувалов, чтобы сократить путь, направился прямо через клумбу. Но ноги его увязли в разрыхленной земле, и он растянулся во весь рост. Пока он вскочил опять на ноги, пока отряхнул с себя землю, Лили юркнула в беседку, откуда крытый ход из дикого винограда вел к боль-



шому пруду. Но перед выходом она застала уже задыхающегося от бега Линара. Вместо того чтобы подать ему руку, она бросилась в сторону.

— Куда же вы, мадемуазель? Это — я! — кричал он ей вслед.

Сама она точно так же задыхалась, сердце в груди у нее билось молотком, но от страха у нее выросли крылья, и, не разбирая уже дороги, она неслась все вперед да вперед.

Вот и второй сад, скудно только освещенный там и сям обыкновенными масляными фонарями, так как туда, по расчету устроителей иллюминаций, едва ли мог забрести кто-нибудь из придворной знати. Силы начинали уже изменять ей, колени у нее подгибались, воздуху в груди не хватало. Еще пять минут — и она свалится наземь. А Линар все по ее пятам! Тяжелое дыхание его все ближе и ближе...

— Ах!

Он обхватил ее сзади.

— Пустите меня, граф Линар...

Он старался пригнуть ее голову к себе. Она уклонялась со всей энергией отчаянья и нако-

нец, в виде последнего средства, впиалась зубами в его руку.

— Sacrebleu![24] — пробурчал он и дал ей волю.

Но сделал он это не потому, чтобы причиненная ему боль была так невыносима, а просто потому, что кто-то посторонний отдернул его руку и взял его в то же время за шиворот.

Ни он, ни Лили не заметили сидевшего в нескольких шагах от них на скамейке человека, сделавшегося случайным свидетелем всей описанной сцены

Сам мужчина рослый и сильный, Линар резким движением плеч сразу обернулся к дерзновенному, обошедшемуся так бесцеремонно с ним, титулованным представителем иностранной державы, и поставившему его в глупейшее положение перед фрейлиной принцессы-правительницы. И что же? Лицом к лицу перед ним оказался совсем молодой еще человек, чуть не юнец, да еще в одежде простого обывателя! Не диво, что благородный саксонец сгоряча замахнулся кулаком. Но молодой человек кулаком же отпарировал его удар и тут же схватил его за горло.

— Да ты его задушишь, Гриша! — вскричала Лили, теперь только разглядевшая Самсонова.

— И задушу! — отвечал он, напирая на Линара, пока тот не уперся спиной в ствол дерева.

— Побойся Бога, Гриша!.. Ведь это саксонский посланник. Он тебя и меня погубит...

Самсонов пришел в себя и разжал пальцы. Посиневшее уже лицо посланника приняло опять более естественную окраску.

— Вы его знаете, баронесса? — пробормотал он, растирая себе рукой затекшую шею. — Кто этот... субъект?

— Я крепостной раб и вам, дворянину и вельможе, не ровня, — отвечал по-немецки сам за себя Самсонов. — Но посмейте еще только пальцем коснуться этой барышни — и ваша песня спета!

Сказано это было таким зловецим тоном, что Линар побледнел и весь затрясся от бесильной злобы.

— Сатисфакцию дать мне раб, конечно, не может, — прошипел он сквозь зубы. — Но это тебе, любезный, так не пройдет... ты меня

еще попомнишь!

— Вы, граф, оставите его в покое, — с решительностью вступилась тут Лили.

— Да кто мне помешает?

— Ваш собственный расчет: в ваших же интересах посланника и жениха не давать всей этой глупой истории огласки. Мы все трое ее забудем, точно ничего и не было. Так для всех нас лучше.

Линар не мог не сознать резонности такого предложения.

— А вы, мадемуазель, за этого человека отвечаете? — спросил он.

— Отвечаю как за себя. Мы-то с ним, во всяком случае, не проговоримся. Но и вы, граф, дайте мне слово ничего не предпринимать ни против него, ни против меня.

— Хорошо...

— Честное слово?

— Честное слово. А теперь, что же, мы возвратимся опять к другим?

— Да, вы ступайте вперед. Я и без вас уже найду дорогу.

В голосе молодой девушки, несмотря на ее сдержанность, слышалась такая враждеб-

ность, что саксонец нашел бесполезным далее настаивать. В знак согласия он молча только наклонил голову. Но прежде чем совсем сойти с бесславного поля действия, он все-таки не мог не выказать всего своего презрения рабу, нанесшему ему оскорбление действием. Вполоборота, через плечо, прищурившись на Самсонова, он проронил полувнятно, точно жалея для него даже драгоценных звуков своего благородного голоса:

— Марать руки о твою холопскую рожу я не стану. Но можешь считать про себя, что получил от меня полновесную пощечину.

И, высоко неся голову, он пошел своей дорогой. Самсонов глядел ему вслед со сжатыми кулаками и, чего доброго, ринулся бы за ним, не будь тут ангела-хранителя обоих — Лили.

— Обличье соколье, а душа воронья! — прошептал он дрожащими от гнева губами. — Нож бы в бок — и делу конец!

— Какой ты злющий, Гриша! На тебя смотреть страшно! — сказала Лили.

Искаженные ненавистью черты его приняли виноватое выражение, и кулаки его разжались. При этом Лили вдруг заметила, что

одна рука у него в крови.

— Боже! Что с твоей рукой, Гриша?

Он печально улыбнулся.

— Зубы ваши, Лизавета Романовна, очень уж остры.

— Так это я тебя же укусила? Прости, голубчик! Вот тебе мой платок, помочи его в пруду...

Он принял ее вышитый, батистовый платок, но не прижал его к ране.

— Спасибо вам, но во дворце вас могут хватиться. Не вернуться ли вам сейчас?

— Да, да...

Она что-то, казалось, хотела еще прибавить, но в горле у нее будто что осеклось. И быстрыми шагами она удалилась, но окружным путем, чтобы не повстречаться опять как-нибудь с Линаром.

# Глава семнадцатая ЕЩЕ ОДИН РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА, НО НЕ БЕЗ УПРЕКА

Между тем Линара ожидало еще новое испытание. Едва только он сделал несколько шагов за ближайшую купу деревьев, как оттуда его вполголоса окликнули:

— Граф Линар! На пару слов.

Он обернулся, к нему подходил Пьер Шувалов.

— Вы разрешите мне идти с вами? — продолжал Шувалов. — По пути и стоворимся.

— Да что вам угодно от меня, милостивый государь? — отрывисто и далеко не с обычной своей вежливостью спросил саксонец.

— Первым делом позвольте выразить вам мое глубокое соболезнование: такой неслыханный afront от простолюдина и раба...

Линара передернуло.

— А вы подглядели?

— Подглядывать не в обычае придворных людей российского императорского двора. Не знаю, как при дворе курфюрста саксонского?..

— Вы, милостивый государь, ищете, кажется, ссоры со мною!

— Нимало, любезный граф. Каков вопрос, таков и ответ. В долгу мы, русские, не любим тоже оставаться. Но возвратимся к делу. Прибыл я на место как раз в самый разгар вашего... объяснения. Присутствие лишнего свидетеля в такой критический момент вам едва ли могло бы быть приятно, и потому я стуживался. Но совсем скрыть от вас мое присутствие я не считал себя вправе, тем более что принимаю живое участие не столько даже в вас, сколько в тех двух лицах, с которыми вы только что... объяснялись. Обидчик ваш довольно близкий мне человек: сколько лет он был у меня казачком, потом камердинером.

— Вот как! Тем лучше, — подхватил Линар, — вы, надеюсь, примерно накажете этого нахала?

— Вы, граф, меня не дослушали: человек этот был моим камердинером, но теперь он собственность цесаревны Елизаветы и состоит в распоряжении ее камер-юнкера Разумовского.

— Так сегодня же я переговорю с господи-



ном Разумовским.

— Вы этого не сделаете.

— Как! Почему?

— Потому, что сейчас ведь только дали баронессе Врангель свое честное слово ничего не предпринимать ни против нее, ни против ее защитника.

Из уст саксонца, против его желания, вырвалось довольно вульгарное немецкое междометие.

— Вы сомневаетесь в моем честном слове? — вскричал он.

— Не желал бы сомневаться, но не сами ли вы собираетесь его нарушить?

— Милостивый государь! Есть оскорбления, которые смываются только кровью!

— Я всегда к вашим услугам, — с учтивым поклоном отвечал Шувалов, который делался все спокойнее по мере того, как его собеседник терял равновесие духа. — Пистолетом я владею довольно сносно: на двадцать пять шагов попадаю в червонного туза без промаха. Но крови вашей я вовсе не жажду, точно так же, я полагаю, как и вы моей. Не так ли?

— На что мне ваша кровь!..

— Ну, вот. Разговор наш будет чисто деловой, и волноваться вам не из-за чего. Вы, быть может, уже заметили, что я к баронессе Врангель не совсем равнодушен...

— Мне-то какое до этого дело! Или вам угодно вступитья тоже за нее?

— Нет, это сделал уже с успехом мой бывший камердинер, и лавров его я не ищу. Я нашел нужным поставить вас только в известность, что намерения у меня относительно баронессы Врангель самые чистые и я с радостью сейчас хоть предложил бы ей руку и сердце...

Линар криво усмехнулся:

— За чем же дело стало? Могу пожелать вам только не слишком разочароваться.

— Подобно вам? Нет, прежде чем лезть в воду, я имею обыкновение спрашивать броду. И в этом-то, почтеннейший граф, вы можете оказать мне неоценимую услугу.

— Я? Вы изволите шутить.

— Нет, серьезно. Избранница моего сердца, как вам, я думаю, не безызвестно, бедна как церковная мышь. Сам я, чего вы, может быть, не знаете, еще беднее: я в долгу как в шелку...

— Но меня-то, милостивый государь, это ничуть не касается! Я могу разве только пожалеть вас.

— Вот за такое сочувствие я вам глубоко благодарен! Стало быть, я все-таки недаром обратился к вам.

— Да что вам, наконец, нужно от меня?!

— Ваше благосклонное содействие.

— В чем?

— В том, чтобы вашим властным словом, как магическим жезлом, раскрылся сезам, то есть государственная рентерея, и моей будущей спутнице жизни отсыпали полный мешок брэнного металла.

— Да с какой стати, скажите, мне хлопотать за вас?

— А по пословице: рука руку моет. Если вы не поможете мне в моем деле, то никто и ничто на свете не заставит меня молчать о том, чему я сейчас вот был случайным свидетелем.

Взбешенный Линар не мог воздержаться помянуть, хотя и сквозь зубы, дьявола.

— Что вы изволили сказать? — с утонченной учтивостью переспросил Шувалов. — Вы

можете мне в известной степени повредить, я это знаю, но ваше положение будет, пожалуй, еще хуже. Для нас обоих, стало быть, выгоднее не подымать шуму, а войти в любовную сделку.

В душе надменного представителя дрезденского двора происходила, видимо, тяжелая борьба, но благоразумие взяло наконец верх.

— Чего же вы требуете? — глухо произнес он. — Чтобы баронессе Врангель было назначено приличное приданое?

— Вот именно. Цифры я наперед не определяю: дадут много, претензии заявлять я не стану, а покажется мне мало, то вы не откажетесь приложить все ваше красноречие...

— Постойте! — нетерпеливо перебил Лиар. — Мы продаем шкуру, не убив медведя.

— Позвольте вам заметить, граф, что ваше сравнение к баронессе ничуть не применимо.

— Согласен, на кошечку она похожа гораздо, более. Но уверены ли вы, скажите, в расположении ее к вам?

— То-то вот, что не совсем еще уверен.

— И вдруг окажется, что мы с вами вытас-

кивали каштаны из огня для постороннего третьего лица?

— Этого-то не случится.

— Почему вы так уверены?

— Потому что вы, граф, с свойственным вам дипломатическим тактом, через посредство вашей досточтимой невесты и принцессы, окажете на нее надлежащее нравственное давление.

— Это уже чересчур! На это не рассчитывайте.

— Тогда наша сделка, к сожалению, не состоится.

— Herrgottsdonnerwetter![25] Да ведь надо же мне чем-нибудь оправдать такое вмешательство мое в судьбу этой девицы?

— Оправдание у вас будет для женщин самое убедительное — неукротимая ревность.

— Ревность? К кому?

— А ко мне. До слуха вашего, изволите видеть, дошло, что еще не так давно ваш покорный слуга состоял в числе многочисленных поклонников баронессы Юлианы и пользовался у нее предпочтительным фавором...

— Это правда?

— С моей стороны, по крайней мере, поклонение было самое искреннее, и этого для вас, я думаю, довольно. Так вот, в безумной ревности своей ко мне вы не ранее успокойтесь, пока не свяжете меня по рукам и ногам узами Гименея с другой особой. Вопрос, как видите, весьма деликатный, но для вас, первоклассного дипломата, он не представит непреодолимых затруднений. Засим других условий я вам никаких уже не ставлю. Со своей же стороны я наложу на мои уста неразмыкаемый замок... Однако начинает накрапывать! Так что же, любезный граф, чего еще раздумывать? Закрепим наш союз дружеским рукопожатием.

Тому ничего не оставалось, как со вздохом прикоснуться кончиками пальцев до протянутой ему дружеской руки. Затем оба пустились бегом ко дворцу, потому что дождь зарядил вовсю.

# Глава восемнадцатая

## КАБЫ ВОЛЯ!

С переходом Самсонова в другие руки брата, Шуваловы хотя и обзавелись новым молодым слугой, пользовались им больше для посылок, и старик Ермолаич сохранил за собой звание старшего камердинера.

В ожидании возвращения господ из Летнего дворца, где после банкета предстояли еще танцы и ужин, старик отобрал из вышедшего из стирки господского белья целую грудку разноцветных чулок с продранными пятками и при свете сального огарка чинил их теперь штопальной иглой. Старость, однако, сказала уже за третьей парой: в очах у него затуманилось, в пояснице заломило.

— Эх, эх! — прокряхтел он. — Пора костям на место... Передохнуть часочек...

И, отложив в сторону работу, он поплелся к своей кровати. Но не успел он еще хорошенько улечься, как в передней звякнул колокольчик — сперва тихонько, потом сильнее.

— Ишь ты! Кого это нелегкая принесла? Он пошел отпереть дверь.

— Ну, подумайте! Грамотей наш! — воскликнул он, увидев перед собой Самсонова. — Отколе проявился? Аль вспомнил старого друга?

Тот, не отвечая, швырнул на стол мокрый от дождя картуз и, схватившись руками за голову, зашагал из угла в угол.

— Да что у тебя, головушку разломило? — допытывал Ермолаич.

—словно железным обручем сжимает... — был глухой ответ.

— Стало, здорово простудился. Сходил бы в баньку...

— Нет, дяденька, не то... Я, кажется, с ума сойду!

И, с горьким воплем упав на стул, Самсонов закрыл лицо руками и зарыдал.

— Ишь ты. Что-то неладно, — сообразил старый друг и, подойдя к плачущему, начал гладить его по волосам. — Да что это у тебя с рукой-то? Будто оцарапана, и кровь еще каплет. Где это тебя угораздило? Очень, видно, больно?



— Нет, дяденька, не рука у меня, а душа болит...

— Душа болит! Ну, подумайте! Полно же, полно, миленький! Не баба ты, слава Богу. Перемелется — мука будет...

От старческой ласки слезы у юноши потекли еще обильнее, но в слезах понемногу растворилось его горе.

— Кабы только воля!.. — прошептал он, отирая глаза.

— Фюить, фюить! — засвистал Ермолаич. — Так вот ты о чем! Да что тебе у матушки цесаревны не вольно, что ли, живется?

— Тебе, дяденька, меня не понять. Будь я вольный, я вышел бы в заправские люди, добился бы дворянства.

— Эвона куда метнул! Да на что тебе дворянство?

— На то, что никакой граф или князь не посмел бы уже тогда говорить мне таких слов...

— Каких слов?

— "Не хочу, — говорит, — о тебя, раба, мараить моих чистых рук, а считай, — говорит, — что я дал тебе пощечину". Подвернись он мне

еще раз под руку, да я его, мерзавца, так исковеркаю!..

И, сверкая глазами, Самсонов погрозил в пространство кулаком. Ермолаич, успокаивая, потрепал его по пылающей щеке морщинистой рукой.

— Ну, подумайте! Его бы исковеркал и сам бы себя тем погубил. Да на кого ты, скажи, так злобишься?

— Назвать его я не смею: обещал молчать. А будь я ему равный, да я тут же вызвал бы его на пистолеты, всадил бы ему пулю в грудь...

— Либо сам был бы подстрелен, как кулик. За что? Про что? Борони, Боже! Нет, миляга, так-то лучше. Обидел он тебя, ну, ты по-христиански отпусти ему грех: Господь с ним!

— Да почему он-то нашего брата может обижать безвозбранно?

— Потому, что судьбою выше нас поставлен. Каждому человеку свой предел положен.

— Да почему? Почему другие рождаются уже вольными, а вот мы от рождения навек закабалены? Кабы воля...

— Заладил свое: "Кабы воля!" Да что ты ду-

маешь, и сам я тоже примерно мог бы быть не токмо что вольным, но и первым богатеем.

— Правда, дяденька?

— Истинная правда, врать не стану. Да ну с ней, с этой волей да и с богатством!

— Что так?

— А так... Аль рассказать тебе? В науку тебе пойдет.

Старик достал из-за пазухи свою берестовую тавлинку, сделал здоровую понюшку, от удовольствия крякнул и начал затем свой рассказ:

— Было то, милый ты мой, с полвека назад, а то и все шесть десятков, шел мне тогда, сколько уже не упомню, двенадцатый либо тринадцатый год. Паренек из себя был я, как вот ты, пригожий, а паче того, юркий: полюбился я за ту юркость моему старому барину, покойному деду нынешних моих господ (царство Небесное!), и определил он меня к себе в казачки, куда ни поедет, везде я с ним. А была у него тоже страстишка (не тем будь помянут!) к этим проклятым картам. Случилось нам с ним быть у Макария на ярмарке, столкнись он тут с такими ж картежниками, и об-

чистили, ободрали они его, голубчика, как липку, до последней, значит, копейки. Пошел он тут со мной на ярмарку меж народом по-толкаться, от дурмана игорного проветриться. Ходим мы этак меж палаток и возов, всяк ему товар свой выхваливает, а он, знай, все хаит да фыркает. Может, что и купил бы, да коли у самого в кармане ветер дует, поневоле зафыркаешь.

Глядь, отколе ни возьмись, накатилась на меня — бочка не бочка, а купчиха, поперек себя толще, облапила меня.

— Митя! Родненький, соколик ты мой!

Ну подумайте! Отбиваюсь я, говорю:

— Какой я тебе, мол, Митя! Зовут меня Тихоном, Тишкой.

— Чего ты, матушка, к нему как банный лист пристала? — говорит ей и мой барин. — Он из людей моих...

А она его за полу кафтана, руки целует:

— Батюшка! Дай выкупить его у тебя. Один был у меня после мужа сыночек, да летось его тоже Господь прибрал. И никого-то у меня теперича на всем белом свете! Достатки у меня хорошие, да на кого, сирота, их оставлю?

— Тишка мой на сыночка твоего нешто так похож? — спрашивает барин.

— Так схож, — говорит, — так уж схож: две капли воды!

— Да ведь ты, матушка, никак, из купеческого сословия?

— Из купеческого, батюшка. Свидетельство гильдейское покойный муж кажинный год выправлял...

— Так тебе, по званию твоему, рабов иметь не полагается.

— Да нешто он будет у меня раб? Он будет мне за родного сына.

— Ты, стало, усыновить его ладишь?

— Усыновить, знамо дело, как по закону быть следует. Мое слово твердо. Уступи ты мне его, батюшка! Никаких капиталов не пожалею и век за тебя Богу молиться буду!

Стали они торговаться обо мне, а меня самого даже и не спросят: известно, раб, бесправная тварь! Меня же взяло сумленье: а ну как мне у толстухи все же житья-то не будет? Кто ее ведает, какой у нее еще норов-то!

Почесал я затылок и говорю барину:

— Батюшка барин! Не продавай ты меня

сразу, отдай перво-наперво на испытание. Как не придусь ей по нраву, так, того и гляди, замучит еще меня, горемычного, со свету сживет...

— Что ты, милованчик мой! — говорит купчиха. — Бога в тебе нет! Да я мухи, комара не обижу. Так стану ль я тебя к себе на мученье брать? Не махонький ты, слава Богу, разум есть в голове, понимать должен. Будешь ты у меня как сыр в масле кататься, буду улаживать тебя всем, чего только душенька твоя ни пожелает, а придет мой смертный час, так все, что ни есть, тебе же останется...

Наобещала она мне чего-чего, на трех возах не вывезешь, напевала, ну, соловушко, да и только! Развесил я, глупыш, уши, облизываюсь как теленок, которому соли на морду насыпали. Чуть было уже не сдался, да, спасибо, барину все же жаль меня стало.

— Все это, матушка, на словах распрекрасно, — говорит. — А что будет на деле — вперед и знахарка тебе никакая не предскажет. Почем знать, может, Тишка и впрямь тебе угодить не сможет и отвернется от него душа твоя? Дам я его тебе, изволь, на испытание,

скажем, сроком на один год, а там виднее будет.

Рассказчик сделал небольшую паузу, чтобы подкрепить себя опять табачком.

— И что же, на том и порешили? — спросил Самсонов.

— На том самом. Взял с нее барин не то задаток, не то плату, с уговором, что если не уживусь я у нее, так она меня удерживать не станет, а он ей денег вернуть уже не обязан. Хорошо. Первым делом повезла она меня в Москву белокаменную, повела по церквам — поклониться святым угодникам за богоданную матушку, а сколько в Москве церквей, ты, чай, слышал?

— И слышал, и видел проездом: сорок сороков.

— Ну, вот. И везде-то свечки ставила, старцев божиих милостыней одеяла...

— Значит, и вправду была сердцем добрая?

— Уж такая ли добрая, что и сказать нельзя, а на меня, мальчугу, просто не надышится. В первый же день купила мне сапоги козловые со скрипом, на второй — балалайку. На счет же лакомств разных: яблочков, орешков,

рожков, винных ягод, пряников медовых — ешь не хочу.

— А из Москвы тебя к себе домой повезла?

— Домой, а дом-то у нее тоже полная чаша, всякого брашна преизобильно. Для меня же еще нарочно и сладкие пироги с вареньем, и оладьи с сотовым медом, и дыня в патоке отваренная, не перечесть! Угощаешься всласть, а она ни шагу от тебя, смотрит тебе в рот, в глаза да потчует:

— Ах ты касатик мой! Яблочко наливчатое! Кушай на здоровье! Не хочешь ли еще чего?

Спервоначально такое житье мне, что грех таить, полюбилися. Да день за днем все только обжорство до отвалу — неволю пришлось. Она же меня все нудит:

— Да что же ты, моя радость, не кушаешь?

— Не могу, — говорю, — матушка, постыла мне эта сладкая жизнь...

— Постыла! Ах ты болезный мой! Знать, тебе нездоровится?

— Здоров я, матушка, здоров, как боров, да обленился уж больно, работу бы какую...

— Владычица многомилосердая! Работу!



Малый без году неделя из яйца вылутился, а туда же: работу!

— Да ведь скучно, — говорю, — матушка, без дела-то!

— А скучно, так мы с тобой в фофаны поиграем, "в дурачки", а то я тебе, хочешь, на картах погадаю?

Играешь с ней так час и другой в фофаны, в дурачки, — индо одурь возьмет. А то почнет это раскладывать карты, гадать про деньги, про письмо, про дорогу, а ты сиди около, отойти не моги, не пикни...

Так рассказывал Ермолаич и, по привычке стариковской, повторяясь, возвратился опять к тому, как толстуха его обкармливала любимыми его варениками и бараньим боком с кашей, как отпаивала чаем с медом сотовым, вареньем вишневым, малиновым, смородинным... Самсонов его уже не прерывал. Подперши голову обеими руками и с сомкнутыми глазами, он слушал, а в то же время не мог не слышать и шумевшего на дворе ливня: из водосточной трубы вода так и журчала, так и плескала, и, подобно этой воде, журчал и плескал над ним монотонный старческий го-

лос Ермолаича, утишая своей охлаждающей струей его жгучую душевную боль.

— И чем же все это кончилось, дяденька? — прервал он рассказчика.

— Знамо, чем: выжил я у нее месяц-другой, — и сил моих не стало!

— Утек?

— Утек, грешный человек, подобру-поздорову. Вернулся к старому своему барину, повалился в ноги:

— Прими, мол, назад, батюшка! Не надо мне ее, этой воли, прах ее возьми!

— Да разве то была воля, дяденька? То была неволя горше рабской! Мне нужна другая воля...

— Какая еще? Чтобы знатных людей бить по щекам, а потом с ними стреляться? Ай да воля!

— Мы с тобой друг друга все равно не поймем... — пробормотал Самсонов, который, смутно сознавая, что в возражении старика есть все же доля правды, не мог еще в спорном вопросе толком разобраться. — Должна же быть настоящая, справедливая воля... Ну, да во всяком разе спасибо тебе, дяденька, на

добром слове! Будь здоров.

# Глава девятнадцатая

## ДИПЛОМАТИЯ

Дождь, дождь и дождь! Уже больше часу лежала Лили в постели, а шум и плеск воды за окном не давал ей заснуть. Да один ли дождь мешал ей! Когда она одним ухом прижалась крепко к подушке, а другое зажала ладонью, перед ее зажмуренными глазами всплывали одна за другой картины пережитого дня. То она опять ловит и бросает обручи, то бежит в горелках... Линар ее догоняет, хватается сзади, она кусает ему руку, и вдруг это вовсе не его рука, а рука Гриши, и кровь с нее капает, капает, капает...

Надо подумать о чем-нибудь другом, например... да хоть об ужине. Рядом с ней снова этот несносный Пьер Шувалов. Как всегда, он с ней очень предупредителен, любезнее еще обыкновенного, но у него прорывается какая-то фамильярность. Что он себе воображает! Чтобы ее рассмешить, он заговаривает с ней на разных языках: по-французски, по-немецки, по-английски, по-итальянски, по-

латыни и, наконец, даже по-чухонски, а она молчит.

— Вы молчите на семи языках, — говорит он. — Ну, усмехнитесь, хоть на копеечку!

И она нехотя усмехается на копеечку, но в то же время ей мерещится опять эта окровавленная рука, и по всем членам ее пробегает нервная дрожь.

Наконец-то усталость ее одолевает, и она забывается тревожным сном.

— Пора вставать, дитя мое, пора! — раздастся над ней ласковый голос камеристки-эстонки.

— Это ты, Марта? Разве так поздно? Все еще будто потемки...

— А потому, что небо все в тучах и дождь ливня льет. Принцесса не велела будить тебя, чтобы выспалась со вчерашнего.

— Со вчерашнего?

— Аль забыла? А он-то, поди, не забыл: каких, вишь, цветов тебе прислал! Понюхай-ка.

Марта поднесла ей букет к самому носу. Букет в самом деле был пышный и предушистый, но Лили отвела ее руку.

— Скажи сперва, кто прислал?

— Точно и не знаешь! — лукаво улыбнулась камеристка. — Как кот ведь около моей кошурочки весь день увивался! И баронесса моя вчор еще шепнула мне, что из вас выйдет парочка.

Лили разом сбросила с себя одеяло и сорвалась с постели.

— Этого еще не доставало! Кто просил ее мешаться не в свое дело? Сейчас же унеси вон эти цветы!

— Вот на! Куда ж я их унесу?

— Да хоть в кухню, под плиту. Убери только с моих глаз! Что ты стоишь? Иди, милая Марта, оставь меня одну.

Покачала головой Марта и унесла цветы, а Лили открыла окно и принялась одеваться. Но делала она все машинально и, еще полуодетая, подошла к открытому окошку. Порывом ветра ее так и опахнуло пронизывающей сыростью. Неужели это тот самый сад, та самая площадка, где еще вчера было так весело? И люди и птицы — все попряталось от дождя. Одни еще только воробьи без умолку чирикают, да не от радости, нет: они дерутся меж собой на карнизе дворца из-за теплого

местечка. Внизу же мокрота непроходимая. Вся земля насквозь пропиталась, блестит как лакированная, и все кругом безнадежно плачет: плачет небо, плачут деревья... А вместо резвящейся молодежи гонятся друг за другом только воздушный вихрь за вихрем, взвиваются вверх по стволам деревьев, треплют сучья, обрывают листья и целые ветки, брызжут кругом слезами... Поневоле тоже заплачешь!

— Что это у тебя, дитя мое, даже слезы? — раздался около нее опять голос Марты. — Что значит погода-то! Вот выпей-ка горячего кофе, и на душе теплее станет.

В самом деле, после двух чашек на душе у нее словно потеплело.

Но когда она вошла к Анне Леопольдовне, у которой застала уже, по обыкновению, ее безотлучную наперсницу Юлиану, от первых же слов принцессы ее обдало холодом:

— Что, выпалась, милая? А счастье твое во сне к тебе пришло!

— Какое счастье, ваше высочество? — пролепетала Лили.

— Да разве тебе не передали еще цветов?

— Передали, но я велела убрать их на кух-

ню и сунуть под плиту.

— Что за ребячество! От Манштейна ты тогда не приняла цветов, а цветы этого нового претендента даже сжигаешь! Тебе, может быть, не сказали, кто их прислал?

— Сказали, что младший Шувалов, но я не подала ему к тому, поверьте, никакого повода.

— Что же ты меня уверяла, Юлиана?.. — обернулась Анна Леопольдовна к своей статс-фрейлине.

— Она, ваше высочество, ожидала вместе с цветами и конфет! — улыбнулась в ответ Юлиана. — Но конфеты конфетами, а сердце у нее, я знаю, тоже уже заговорило. Только не хочется ей еще самой себе признаться.

— Сердце мое ничего решительно не говорит! — запротестовала Лили. — На господина Шувалова я, напротив того, досажую за его навязчивость.

— Да коли он жить без тебя уже не может? А такой партии тебе не скоро дождаться. Ты, моя милая, не забудь, бесприданница, а принцесса по беспредельной доброте своей не только даст за тобой хорошее приданое, но



обеспечит тебя и пожизненной рентой...

— Да не нужно мне ни приданого, ни ренты! — воскликнула уже со слезами в голосе Лили. — Не хочу я вовсе выходить замуж, а всего менее за Шувалова.

— Вместо того чтобы за такие милости поцеловать ручку ее высочества, у тебя еще хватает духу отказываться! Это такая черная неблагодарность...

— Ты чересчур строга, Юлиана, — вступилась принцесса. — Если Шувалов ей действительно уж до того не нравится...

— Мало ли кто кому не особенно нравится! Ведь вышли же ваше высочество за принца, потому что он был выбран для вас вашей покойной тетушкой. Раз Лили имеет счастье быть вашей фрейлиной, то она, как и другие, должна сообразоваться с вашим вкусом. Она еще одумается и примет наши резоны. Видишь ли, моя милая, — обратилась Юлиана деловым уже тоном к самой Лили, — графу Линару, как ты знаешь, я обещала мою руку. Но чего ты еще не знаешь, так это то, что он безумно ревнив. До него дошли слухи, что Пьер Шувалов серьезно ухаживал за мной.

Вчера вечером еще он устроил мне из-за этого в присутствии ее высочества такую сцену, что мы должны были обещать ему поскорее женить Шувалова...

— Но зачем же непременно на мне? — возразила Лили.

— Затем, что Шувалов желает жениться только на тебе.

— Да я-то не желаю выходить за него!

— Ты обязана желать!

— Да, милочка моя, не упрямясь, — заговорила тут Анна Леопольдовна и, притянув к себе Лили, нежно ее поцеловала. — Линара мне хочется во что бы то ни стало приковать к нашему двору. Если же его требование теперь не будет исполнено, то, почем знать, как он еще поведет себя.

"Кабы вы обе знали, каков он на самом деле! — подумала про себя Лили. — Но расскажи я про него, так и он не будет уже связан своим словом..."

— Ваше высочество! — взмолилась она вслух. — Пожалейте меня! Ведь сами же вы, выходя замуж против воли, называли меня счастливой, так как никто меня не может

принудить идти за немилотою.

— Правда-то правда, — вздохнула принцесса, тронутая ее отчаянием. — Нельзя ли, Юлиана, как-нибудь затянуть дело с Шуваловым до твоей свадьбы с Линаром? Тогда Лили может сразу порвать с Шуваловым.

— Оно, пожалуй, и можно бы... Но сумеет ли она столько времени делать ему авансы?

— Нет, это было бы свыше моих сил! — объявила Лили. — Я не дипломатка.

— Да, к сожалению. Третий год ведь ты уже в центре дипломатии и могла бы, кажется, перенять от нас. Но тебе ведь нет еще и восемнадцати лет. Так мы скажем Шувалову, что ты еще слишком молода, пусть немножко подождет. До моей свадьбы, однако, ты, во всяком случае, от него хоть не отворачивайся, принимай от него всякие приношения.

— Да, милая Лили, немножко тебе придется уж притворяться, — поддержала свою наперсницу принцесса. — Ты сделаешь это для меня, да?

— Постараюсь, ваше высочество... — упавшим голосом сдалась Лили.

— Но это, моя милая, еще не все, — продол-

жала Юлиана. — Раз Шувалов будет, так сказать, в твоих руках, то ты в интересах принцессы должна использовать свое положение. Между нашим лагерем и лагерем цесаревны наружно хотя и сохраняются дружеские отношения, но в действительности это вооруженный мир. Я сильно подозреваю, что вчерашнее нездоровье цесаревны было только предлогом. Она вообще избегает теперь встречаться с нами, потому что знает, как зорко мы наблюдаем за каждым ее шагом.

— И очень дурно делаем, — заметила Анна Леопольдовна. — Я не вижу к тому серьезных оснований...

— Потому что ваше высочество слишком доверчивы и судите о других по себе. Зачем бы, скажите, лейб-медику цесаревны Лестоку дружить с французским посланником, маркизом де ла Шетарди? Зачем бы секретарю маркиза Вальданкуру так часто заезжать к шведскому посланнику Нолькену? Для чего теперь Нолькен отправляется в отпуск к себе в Стокгольм? Это целая цепь, через которую цесаревна находится в тайных сношениях со шведским двором. Недаром говорят, что она

получает уже из Стокгольма крупную субсидию.

— Да верно ли это, Юлиана?

— А на какие же средства иначе она угощала бы так часто своих преображенцев? Сложилась даже, как вы знаете, поговорка: "У цесаревны опять ассамблея для преображенцев". Чтобы эти ассамблеи с грубыми солдатами доставляли ей, при ее утонченном вкусе, действительное удовольствие, я очень и очень сомневаюсь. Стало быть, тут совсем иная цель — политическая.

— Нет, Юлиана, на этот раз ты наверно ошибаешься, — возразила принцесса. — Тетя Лиза со мной всегда так прямодушна, что подозревать ее в каких-либо политических интригах грешно.

— Да шведы-то помогают ей, вы полагаете, pour ses beaux yeux (ради ее прекрасных глаз)? Если не сама цесаревна, то ее советчики наверно преследуют совершенно определенную цель и выжидают только удобного случая, чтобы привести ее в исполнение. С какой стати, например, Лесток еще не далее как третьего дня так обстоятельно расспрашивал

Фишера о здоровье вашего малыша и чем его лечат?

— Как врача его, очевидно, интересует метода лечения других врачей.

— Простите, принцесса. Лесток — хирург. Какое ему дело до лечения грудных детей?

— Ты меня пугаешь, Юлиана! Ведь он же ничего не прописал моему мальчику?

— В этом-то отношении нам нечего опасаться: отравы Лесток ему не пропишет. Для этого он слишком осторожен. Но он знает, что пищеварение царственного младенца с первого дня и до сей минуты не может обойтись без возбуждательных средств. Так вот, если бы (не дай Бог) средства эти перестали уже действовать и поднялся бы опять вопрос о престолонаследии...

Анна Леопольдовна от ужаса зажала себе уши.

— Не говори, не говори! Он не умрет у меня, не может умереть!

— Пока, ваше высочество, слава Богу, этого еще и не предвидится, но такая заботливость Лестока служит лишним симптомом тайных воцелений русского лагеря. Надо и нам при-

нять свои меры предосторожности.

— Вот потому-то Остерман и посоветовал Антону-Ульриху выписать сюда его брата, принца Людвига Брауншвейгского.

— Чтобы женить его на цесаревне? Будь то любой другой иностранный принц, то план наш мог бы, пожалуй, еще удалиться, но за брата вашего супруга она, поверьте мне, ни за что не выйдет.

— Да почему бы нет? Принца Людвига она еще не видела. Он, говорят, и красивее, и умнее Антона-Ульриха. Отдав цесаревне герцогство Курляндское, мы удалим ее навсегда из Петербурга, из сферы влияния ее на гвардию. Кроме того, имея супругом принца из нашего же брауншвейгского дома, она тем самым будет уже связана по рукам.

Юлиана пожала плечами.

— Ну, что ж, — сказала она, — раз уж принц Людвиг сюда вызван, так пускай попытает свое счастье. А пока что мы воспользуемся услугами нашей милой Лили и Шувалова.

— Ах, нет, пожалуйста, нет! — испугалась Лили. — Шпионить через него за цесаревной, которая со мной всегда так мила, я не могу,

право, не могу!

— Оставь же ее, Юлиана, не настаивай, — сказала принцесса. — Сама я ведь тоже плохая дипломатка. Но от цветов и конфет Шувалова ты, Лили, все-таки обещаешь пока не отказываться?

— Обещаюсь...



# Глава двадцатая

## ПРИЗРАК ЛИНАРОВЩИНЫ

Сдержать свое обещание было Лили тем легче, что, вследствие летнего сезона, при дворе в течение нескольких недель не было уже ни одного большого съезда, на котором присутствовала бы цесаревна со своей свитой, так что Петру Ивановичу Шувалову приходилось ограничиться присылкой цветов или конфет. Цветы Лили ставила в вазу, а конфеты съедала не менее аккуратно (зачем им было даром пропадать?), впрочем, ей усердно помогала и Юлиана.

Тут случилось событие, которое в придворном мире прошло бы почти незамеченным, если бы не дальнейшие последствия: 23 июля Бог послал правительнице дочку, получившую во святом крещении имя Екатерины. Крестины не сопровождались особыми церемониями. По новому закону о престолонаследии, новорожденная, будучи женского пола, не имела ведь права на престол. Но уже на девятый день, не приняв еще с поздравлениями

ни одной из придворных дам, принцесса дала аудиенцию графу Линару и собственноручно пришила ему на грудь звезду Святого Андрея Первозванного, надела на него небесно-голубую ленту. Такая из ряда вон выходящая милость посланнику второстепенной иностранной державы, ничем иным пока не заявившему себя при русском дворе, как только тем, что собирался сочетаться браком с статс-фрейлиной правительницы, произвела в придворной сфере немалый переполох. Первый кабинет-министр граф Остерман созвал к себе своих сотоварищей по кабинету на тайное совещание, но совещание это ни к какому определенному решению так и не пришло. Принц Антон-Ульрих, возмущенный не менее министров, насильно ворвался во внутренние покои своей супруги, куда в последнее время его даже не впускали. Не стесняясь присутствием Юлианы и Лили, он с свойственной ему запальчивостью стал осыпать принцессу упреками, еще более обыкновенного заикаясь и брызгая слюной.

— Когда ты этак волнуешься, мой друг, глядеть на тебя невозможно! — с брезгливостью

отворачиваясь, заметила Анна Леопольдовна. — Ты чем же особенно недоволен? Не тем ли, что я по случаю нашей семейной радости, не спросясь тебя, отличила перед всем двором жениха моей верной статс-фрейлины? Да чья она фрейлина, скажи: твоя или моя?

— Фрейлина-то твоя... Но андреевский орден — высший российский знак отличия, а граф Линар — самый младший из представителей иностранных дворов.

— Ну, иностранцем он останется только до дня своей свадьбы.

— А тогда что же?

— Тогда он переходит в русское подданство и делается моим обер-камергером.

— И это я узнаю также только сегодня!

— Да от кого зависят такие назначения: от тебя или от меня? Кто из нас регентствует: ты или я?

— К сожалению, ты. Но когда у тебя отнимут регентство, а у сына нашего — трон, тогда ты будешь плакать, рвать на себе волосы, да поздно.

Анна Леопольдовна слегка даже побледнела и пробормотала:

— Что ты такое болтаешь?!

— Говорю я не с ветра, — продолжал принц. — У цесаревны, как сама ты знаешь, заключен тайный договор с Швецией, и Нолькен повез его теперь, надо думать, на одобрение в Стокгольм. Не нынче-завтра шведы объявят нам войну...

— И Миних их разобьет!

— На Миниха ты, душа моя, слишком не рассчитывай. Правда, что он арестовал для тебя Бирона, но ты его самого устранила, и теперь он, пожалуй, готов для цесаревны арестовать и тебя, и меня, и твоего будущего обер-камергера.

— Нет, этого он не сделает! — вмешалась тут Юлиана. — Фельдмаршал дал клятву в верности принцессе и клятвы своей не нарушит.

— Но от начальствования армией все-таки может отказаться.

— Так на что же ты сам-то генералиссимус? — вскинулась принцесса. — Если ты так уверен, что нам грозит война, то я предлагаю тебе немедля принять все нужные меры. Вся ответственность падет на тебя.

— Вот и толкуй с прекрасным полом... — пробурчал принц-генералиссимус, которому такая перспектива, видимо, ни мало не улыбалась. — Война со шведами нужна не нам с тобой, а цесаревне. Так надо склонить цесаревну в нашу сторону, и самым верным средством к тому был бы брак с моим братом Людвигом.

— Да вот Юлиана не верит, чтобы тетя Лиза вышла за него.

— Попытаться можно, — сказала Юлиана. — А чтобы возвысить принца Людвига в глазах цесаревны, хорошо бы сравнять его в знаках отличия с графом Линаром.

— Вот это так! — одобрил Антон-Ульрих. — Вы, Юлиана, что ни говори, все-таки большая умница. У графа Линара отнять его орден, конечно, уже нельзя: это повело бы к конфликту с дружественным двором.

— Наконец-то договорились! — облегченно вздохнула Анна Леопольдовна. — От твоего брата зависит понравиться цесаревне. Ты теперь, надеюсь, успокоился?

— Отчасти да...

— Ну, и слава Богу! До свиданья.

С прибытием принца Людвига брауншвейгского правительница действительно в самый день приема пожаловала его кавалером ордена Святого Андрея Первозванного. Возвысило ли его это в глазах цесаревны — оставалось, впрочем, под большим сомнением, потому что в обращении ее с ним замечалась явная холодность. Что же до высказанных Антоном-Ульрихом опасений о разрыве с Швецией, то они очень скоро оправдались: через несколько дней уже пришло в Петербург из Стокгольма формальное объявление войны. Впоследствии подтвердилась и догадка о тайном договоре цесаревны Елизаветы с шведским королем. Договор этот хотя и не был заключен на бумаге, чтобы он не попал как-нибудь в руки немецкой партии, но отдельные пункты договора цесаревна повторила словесно поверенному шведского посольства на аудиенции три раза.[26] Натянутые отношения двух враждебных лагерей при петербургском дворе — немецкого и русского, — понятно, еще более обострились. Особенно способствовал тому будущий герцог курляндский (как шепотом называли уже графа Лина-

ра), который в надменности своей напоминал все более герцога Бирона и не упускал случая принизить цесаревну.

Так в годовщину рождения малютки-императора, 12 августа, когда, после парада войск, весь двор направился в банкетный зал, принц Антон-Ульрих и его брат Людвиг, по настоянию Линара, были посажены за стол обер-гофмаршалом, а Елизавета Петровна — просто гофмаршалом. После же банкета Линар с нескрываемой иронией выразил свое удивление богатству цесаревны, которая, как слышно, оделила изрядной суммой каждого из солдат гвардейского отряда, двинутого в Финляндию против шведов.

Цесаревна, не показывая вида, что поняла иронию, отшутилась с обычной своей приветливой улыбкой:

— Вас, граф Линар, это удивляет? Наш генералиссимус по своей похвальной бережливости не нашел возможным снабдить наших защитников хоть небольшими карманными деньгами, столь необходимыми в походе, да еще в чужой стране. Ни для кого здесь не тайна, что я всегда принимала живое участие в

гвардейцах, любимцах моего батюшки. Как же мне теперь было не позаботиться о моих опекаемых? Я рассчитываю получить за то еще благодарственный рескрипт.

Говорилось это так благодушно, что генералиссимус не знал, принять ли это за злую насмешку или за безобидную шутку.

— Но такая расточи-чи-чительность... — возразил он, заикаясь. — Вы дали каждому рядовому целых пять рублей...

— А вашему высочеству известна и цифра? Могу вас только поздравить с вашими превосходными агентами.

— Агенты не мои, а...

Хотя Остермана, отговорившегося, по обыкновению, своей подагрой, и не было на банкете, но принц вовремя спохватился и прикусил язык. Юлиана, оберегавшая всегда вокруг особы своей госпожи мир и порядок, поспешила напомнить принцессе, что пора бы теперь прочесть и торжественную оду, доставленную на сегодняшний день из Академии наук.

— Ах, да! — согласилась Анна Леопольдовна. — Автор этой оды, господа, тот самый сту-



дент Ломоносов, который еще два года назад прислал из-за границы такую же оду на взятие Хотина. На днях он возвратился в Россию.

— А знаешь ли, Лили, откуда взялись у нас деньги для гвардейцев? — шепотом спросила свою подругу Скавронская.

— Откуда?

— Только ты дальше-то не пересказывай. Всякому ведь неприятно, когда к нему заглядывают в кошелек. А в кошельке цесаревны большая прореха: нынешний месяц весь двор наш остался без жалованья.

— Как! Все из-за этих гвардейцев?

— Ну да, не отпускать же их в дальний путь совсем нищими.

Разговор двух подруг был прерван чтением новой ломоносовской оды, выслушанной всеми присутствующими с большим вниманием и даже с возгласами восхищения. Правительница со своей стороны поручила тут же своему обер-гофмейстеру, Миниху-сыну, распорядиться напечатать оду в "Санкт-Петербургских ведомостях" и отпустить ее автору приличную денежную награду.

— Как жаль, что Гриша не мог слышать

этих стихов! — тихонько заметила Лили. —  
Ведь одну на взятие Хотина он выучил даже  
наизусть.

— Так пошли же ему их, — улыбнулась в  
ответ Скавронская.

— А что ж, и пошлю. Но с кем?

— Да с Разумовским. Алексей Григо-  
рьич! — окликнула она Разумовского. — По-  
жалуйста-ка сюда.

Тот поспешил на зов.

— Що треба ясным паненкам?

— Ведь Самсонова своего вы, верно, каж-  
дый день видаете?

— Эге.

— Так спишите-ка сейчас эти стихи и от  
имени баронессы Врангель отдайте Самсоно-  
ву.

Разумовский замялся. Признаться ясным  
паненкам, что в грамоте он не силен, было ку-  
да уж неловко.

— Оттак-так... — пробормотал он про себя,  
и рука его сама собой потянулась к затылку.

— Вы как будто затрудняетесь? — спросила  
Скавронская.

— Стихи-то больно уж долгие, почитай, в

десять сажен. И в десять ден их не спишешь!

— А лень раньше вас родилась?

— Раньше, матинко. В "Ведомостях"-то их все равно ведь пропечатают, тогда он их и прочитает.

— Да когда-то это еще будет! — сказала Лили. — Видно, самой мне уж придется это сделать...

— Гай, гай! Як же се можно. Ось що ми зробимо, — нашелся сметливый хохол. — Нехай Самсонов сходит к самому Ломоносову с доброй весточкой, что от-де за его вирши гарние назначена ему награда приличная. Да тутотко и попросить у него списать. От и вся. Чи добре?

— Добре, добре! — рассмеялась Лили над его уловкой. — Но вы, Алексей Гриюгобич, уж не забудете?

— Ни, Боже мой!

И, очень довольный, что так удачно вывернулся, Разумовский поспешил отретироваться.

Закончилось празднество, как требовалось, иллюминацией и фейерверком, устроенными на Неве против Зимнего дворца по

плану академика Штелина.

На следующий день состоялось во дворце в присутствии всех представителей иностранных держав и высших сановников торжественное обручение Юлианы Менгден с графом Динаром, после чего следовал итальянский концерт, а вечером ужин в доме зятя невесты, Миниха-сына.

Еще два дня спустя сам Линар устроил у себя роскошный банкет для сторонников немецкой партии. Но двое из последних, наиболее видные — Остерман и Головкин, — отказались из-за нездоровья. В действительности же они не могли простить непомерной заносчивости этому выскочке-иностранцу, мнившему себя, казалось, уже будущим временщиком и требовавшему особенной почтительности к своей особе даже от высших государственных чинов и первых придворных дам. В русском же лагере прямо так и говорили:

— Была бироновщина, была остермановщина, дождемся и линаровщины.

# Глава двадцать первая

## ЧЕТА ЛОМОНОСОВЫХ

"Она все-таки еще меня помнит!" — подумал Самсонов, когда Разумовский от слова до слова передал ему поручение Лили, и в тот же день он собрался к Ломоносову. Как сказали ему в Академии наук, "фатера скубен-ту Михаиле Васильичу" была отведена в казенном доме, купленном летось у немца Бреверна на Малой Неве за Средней перспективой.

Дом оказался каменный, трехэтажный, но с улицы не имелось подъезда. Пройдя калиткой во двор, Самсонов направился к довольно запущенному флигелю, где рассчитывал найти дворника. На первой же площадке из открытой настежь двери на него пахнуло теплым паром, сквозь клубы которого он различил около кухонной плиты молодую женщину с подтыканным подолом и засученными до локтей рукавами, стирающую белье в корыте.

"Дворничиха!" — сообразил Самсонов и пе-

реступил порог. Но едва только он открыл рот для вопроса, как женщина, по естественному чувству приличия приведя в порядок свой наряд, фыркнула на непрошеного гостя:

— Fort! Fort![27]

"Прислуга из немок", — решил теперь Самсонов и спросил уже по-немецки, где тут в доме проживает "Herr Lomonossoff"[28] Господин Ломоносов (*нем.*).

Услышав свой родной язык, молодая немка покраснела, но ответ ее прозвучал еще суровее:

— Его нельзя теперь видеть!

— А! Так он здесь квартирует? Что же, он разве нездоров?

— Здоров, но сидит за работой. Приходите вечером!

— Was ist da wieder los, Christine? (Что там опять, Христина?) — донесся тут из-за притворенной соседней двери мужской голос.

Христина замахала обеими руками, чтобы Самсонов поскорее убирался, но он, очень довольный тем, что обратил уже на себя внимание хозяина, ответил по-русски:

— Не осудите, Михайло Васильич! Я вас

недолго задержу.

Дверь отворилась, и в ней показался, в расстегнутом камзоле, без кафтана, полнолицый, добродушнейшего вида мужчина лет двадцати восьми-девяти.

— Коли так, то милости просим, — сказал он. — У нас ныне, как изволите видеть, генеральная стирка, и тогда моей благоверной не до гостей.

Теперь у Самсонова не могло уже, конечно, быть сомнений, что госпожа Христина — не дворничиха и не прислуга, а сама хозяйка дома, и он смущенно начал извиняться.

— Покудова мы обходимся еще без прислуги, — объяснил Ломоносов. — Ja, Ja, mein Herz, erhitze dich nient! (Да, да, душа моя, не волнуйся!) — прибавил он, видя недовольную мину супруги, и поспешил провести гостя к себе в комнату.

— Прошу садиться, — указал он ему на стул. — В неметчине у них матери семейства не то что наши русские дурафьи-щеголихи, черной работы не гнушаются. А мне это и на руку, финансы еще не в авантаже. Благо, хоть две каморки отвели бесплатно.

Комната по своим малым размерам и то заслуживала скорее название каморки. Обстановка была более чем скромная, но чистота и порядок в ней были образцовые, только письменный стол был завален раскрытыми фолиантами, обложен исписанными листами.

— Спальня наша не больше, — продолжал Ломоносов. — Да окно к тому же выходит на стену. Но дареному коню в зубы не смотрят, есть хоть где голову преклонить.

— И работать? — досказал Самсонов. — А я вот еще помешал вам! Но зато я принес вам добрую весть: новейшую вашу оду правительница повелела напечатать в «Ведомостях» и отпустить вам за нее денежную награду.

— Вот за это большое спасибо! Деньги нам теперь что манна небесная.

— Сколько именно вам назначат, — сказать не умею, но приказано выдать вам награду приличную.

— Спасибо! — повторил Ломоносов. — И вам тоже спасибо, что себя обеспокоили.

Обеими руками схватил он и потряс руку Самсонова, которого, судя по платью, обраще-



нию и говору, должен был принять за человека своего круга.

— А у меня ведь к вам, Михайло Васильич, тоже своя просьбица, — заговорил Самсонов.

— Чем могу служить?

— Этой оды вашей я еще не читал, но ее очень хвалят. Когда-то ее еще напечатают! Так вот, кабы мне теперь же списочек...

— Чем богат, тем и рад, — сказал Ломоносов, подавая ему исписанный кругом лист. — Список, как видите, черновой, с поправками.

— Тем он мне еще дороже. И подумать ведь, что вы тоже из простого звания, а стихотворцем и ученым стали!

— А что вы сами теперь-то?

— Теперь... получеловек, четверть человека. Но это длинный сказ.

— Так что и горло пересохнет? Так мы его подмочим. Christine![29]

Жена, занятая своим делом, не торопилась, и муж окликнул ее еще зычнее:

— Holla, Christinchen![30]

Она будто оглохла. Зато из спальни рядом раздался детский плач.

— Ну, так, дочурку разбудил! — сказал Ло-

Моносов и поспешил в спальню.

Вслед за тем он возвратился оттуда с ба-  
рахтающим младенцем на руках, напевая  
немецкую колыбельную песню:

Schlaf, Kindchen, schlaf.[31]

[32]

Но дочурка не унималась. Звонкий голосок  
ее тронул наконец и сердце молодой матери.  
Она влетела из кухни и выхватила малютку  
из рук мужа.

— Да я управлюсь с ней, милая Христи-  
на, — говорил виноватым тоном Ломоно-  
сов. — Сбегала бы ты лучше за пивом...

— Не можете вы, мужчины, обойтись без  
этого проклятого пива! — возразила Христи-  
на.-

Schlaf, Kindchen, schlaf...

Сам бы и сходил.

— И то, не убраться ли подобру-поздоро-  
ву? — отнесся Ломоносов вполголоса по-рус-  
ски к Самсонову. — Есть у нас тут неподалеку  
преизрядная Bierstube.[33]

Видя, что муж снимает с гвоздя кафтан и  
шляпу, а гость берется за картуз, молодая да-  
ма и без слова Bierstube поняла, куда они на-

правляют стопы.

— Смотри только, не давай записать на себя опять лишнее! — предостерегла она и, достав из кармана тощий кошелек, сунула в руку мужу мелкую серебряную монету.

— Она у меня и казначейша, — пояснил Ломоносов своему спутнику, когда они выбрались оба за калитку на улицу. — С нашим братом, русским, иначе сладу нет. Хорошая жена дом сбережет, а худая рукавом растрясет. Вы ведь, я чай, еще холостой?

— Холостой.

— Так коли станете брать себе жену, берите немку: все вернее.

Самсонов промолчал, но не мог подавить вздоха.

— Знать, кого себе уже наметили? — догадался Ломоносов. — Только не из немок? Аль руки коротки?

— Коротки...

— Не тужите: отрастут!

# Глава двадцать вторая ОТ РЫБАЧЬЕЙ ХИЖИНЫ ДО ХРАМА НАУК

— Ну, вот, теперь пообсудим, как из вас сделать настоящего человека, — сказал Ломоносов, усаживаясь с Самсоновым за свободный столик в Bierstube. — Но для сего вы первым делом поведайте мне про себя, со всею откровенностью, кто вы, отколе и чему обучены.

И поведал ему Самсонов, как, переходя из рук в руки, обучился грамоте, письму и счету, а потом и сельскому хозяйству.

— Та-а-к... — промолвил Ломоносов, следивший за его рассказом с таким живым участием, что незаметно одолел уже вторую кружку пенистого пива. — Пути у нас, я вижу, разные, но оба мы — сыны народа, оба рвемся на свет и воздух. По духу мы братья, а потому выпьем-ка на брудершафт: пойло немецкое, так и побратаемся по-немецки.

С налитыми до краев кружками оба разом приподнялись и через руку накрест, как пола-

гается, опорожнили их до последней капли, после чего трижды облобызались.

— Отныне стал ты для меня Гриша, а я для тебя Миша, — сказал Ломоносов.

— Нет, Михайло Васильич, — возразил Самсонов, — дозвожь уж мне величать тебя по имени и отчеству: ты вышел уж на свет и воздух...

— Добрел до порога храма наук — верно, и, с Божьей помощью, попаду и в самый храм. Но и сейчас, пожалуй, я проживал бы в своих Холмогорах, рыбачил бы на Белом море, кабы не счастливый случай да страсть к учению. Зародилась она во мне, видно, от деда моего с материнской стороны, дьякона.

— Так грамоте ты от него же научился или от родной матушки?

— Нет, дед до меня не дожил, а матушка скончалась, когда я был еще малышом-несмышленьшем. Погоревал по ней батюшка, а там женился вдругорядь: без хозяйки в доме неукладно, неустройно, особливо у беломорца, который полжизни в море. Мачеха (не тем будь помянута!) не больно-то меня голубила. Но нашелся добрый человек из гра-

мотных, нашей же волости крестьянин, Иван Шубной, взял меня в науку. Чтение и письмо дались мне, могу сказать, шутя, и стал я в нашей приходской церкви чтецом на клиросе да за амвоном. Заутреня ли, обедня или вечерня, я уже тут как тут, читаю псалмы, каноны, жития святых, а кончится служба, захожу к старичкам в трапезную да своими словами пересказываю им опять то, что прочитал.

— Но все одно церковное?

— Да, мирских книг в те поры у меня еще и в руках не было, пока в доме одного соседа, Христофора Дудина, не попались мне на глаза два учебника: грамматики Смотритского да арифметики Магницкого. Не хотел он сначала давать мне их, да сыновья, приятели мои, упростили. В тех двух учебниках отверзлись мне впервые врата учености. Подвернулась мне еще как-то Псалтирь Симеона Полоцкого, виршами переложенная. Стал я и сам в стихотворстве упражняться...

— А мачеха ничего, не препятствовала?

Ломоносов отмахнулся рукой.

— Прости ей Бог! Наговаривала на меня ба-тюшке, что-де бездельничаю, от работы отлы-

ниваю. А я работу свою же по совести исполнял, с великой даже охотой выезжал с батюшкой на галиоте его «Чайке» на рыбный промысел и в Белое море, и в Ледовитое. Жизнь простая, но здоровая. Лег — свернулся, встал — встряхнулся. В глухую же зимнюю пору какое уж дело, опричь книг? И дошло тут до меня, что есть в Москве первопрестольной училище, где в стихотворству, и всяким наукам обучают. Но лишь только заикнулся я о том, мачеха, а за нею и батюшка в один голос порешили: "Женить молодца, чтобы от дому не отбивался, из воли не выходил!" Отыскали они мне и невесту...

— Да сколько же тебе, Михайло Васильич, было тогда лет?

— А шел мне девятнадцатый год. Не возмог я покориться и темной ночью был таков.

— Без родительского даже благословения?

— Не легко, знамо, было, да что поделаешь! Не схоронить же себя в такие годы на весь век.

— А как же насчет паспорта?

— Паспорт я выправил себе еще загодя, а денег три рубля да китаечное полукафтанье

занял у приятеля своего Фомы Шубного. Зима же стояла тогда лютая, снега великие, а до Москвы от Холмогор свыше тысячи верст. Долго ль тут заблудиться, замерзнуть! По счастью, попался мне рыбный караван, что вез мерзлую рыбу в Москву, а добравшись туда с караваном, разыскал я и то училище. У москвичей оно все еще называлось по-старому Заиконоспасским, ибо стояло позади иконных лавок при Спасском монастыре, у начальства же оно было уже переименовано в Славяно-греко-латинскую академию. В уважение моего рвения к наукам, меня допустили обучаться славяно-греко-латинской мудрости, одели в сермяжный кафтан, а на пропитание, обувь, бумагу и все прочее положили алтын в день, за это я должен был отправлять еще и пономарскую службу.

— Да на алтын в сутки и не прокормиться здоровому человеку!

— Мирянину, а нас держали по-монашески. На денежку хлеба, на денежку кваску — и сыт до утра. Впрочем, — прибавил Ломоносов с усмешкой, — и нам доводилось иной раз полакомиться. Как сейчас помню такой казус.



Был в монастырском саду у нас небольшой пчельник, но меду хватало с осени ровно-ровно на монастырскую братию. Мы же, глядя, только рот утирали. Но вот однажды, когда монахи вынимали мед из ульев, случись быть грозе. Хлынул такой ливень, что пришлось им спасаться, бежать домой с корытом собранных сот. Поставили они корыто пока что на галерейку. А туда же выходили окна нашей семинарской спальни. От грозы в спальне духота стояла нестерпимая. Открыли мы окна, а с галерейки как пахнет к нам сладким медовым духом!

— И вы не устояли? — рассмеялся Самсонов.

— Как устоять? Вылезли все один за другим на галерейку к медовому корыту и принялись за соты — кто с перочинным ножом, а кто и просто руками. И грех, и смех! Услышали проказников отцы честные, накрыли на месте преступления.

— И тяжкую небось епитимию наложили?

— Как кому: до утра засадили стихи писать. Мне-то это было на руку, сочинил живым манером некую аллегорию про мух, в ме-

ду увязших.

— А стихов тех, Михайло Васильевич, ты теперь уже не припомнишь?

— Может, и припомню, постой-ка... Ломоносов на минуту задумался.

— Вспомнил:

*Услышали мухи  
Медовые духи,  
Прилетевши, сели,  
В радости запели.  
Егда стали ясти,  
Попали в напасти,  
Увязли бо ноги.  
Ах! плачут убоги:  
Меду полизали,  
А сами пропали!*

Стишки, как видишь, не ахти какие, однако начальство одобрило, выставило на них ноту "pulchre".

— А это что же значит?

— Значит "прекрасно".

— С той поры, поди, ты и ученье забросил, все стихами баловался?

— Нет, куда больше стихов занимали меня все-таки две строгие науки: математика да

физика. Годами-то был я ведь много старше товарищей, и в досуженное время, бывало, когда те на дворе играют и резвятся, я в монастырской библиотеке в книгах роюсь. Тут пришло из здешней Академии наук требование прислать двадцать отроков, в науках достойных. Но таковых оказалось меж нас всего двенадцать человек.

— И ты, Михайло Васильич, конечно, в том числе?

— И я тоже. Здесь, в Питере, для доучивания за границей, выбрали из нас опять троих: Виноградова, Рейзера да меня. Отплыли мы из Кронштадта морем в Любек, а оттуда двинулись уже сухим путем прямо к месту назначения — в университетский город Марбург.

— А как же насчет языка-то?

— Читались лекции там по-латыни, а в латыни мы все трое были изрядно-таки крепки. Объясняться же с профессорами да студентами приходилось поневоле на родном их языке, а по-немецки из нас говорил один только немец Рейзер. Но любовь все преодолагает...

— Любовь к науке?

— Нет, любовь сердечная. У квартирного

хозяина моего, Генриха Цильха, члена городской ратуши, а по ремеслу — портного, была молодая дочка... Да ты давеча сам ее видел, нынешняя моя спутница жизни.

— Так от нее-то ты и научился по-немецки?

— И как еще! Как по писаному. Мы сейчас бы сочетались браком, но про женитьбу нашу отец ее пока и слышать не хотел: за душой ведь у меня ничего не было. Накопилось еще долгов на мне, вместе с товарищами, за два с половиной года пребывания в Марбурге, нимного нимало — до двух тысяч рейхсталеров.

[34]

— Да разве вам из Питера не высылали денег?

— Высылали, но всего лишь по триста рублей в год на брата. А великие ли то деньги для студента-бурша с широкой русской натурой! Однако, сказать должен, и ученьем мы не пренебрегали: слушали химию, физику, математику, философию, работали в мастерских научных — лабораториях. И не поверишь, брат, как в этакую научную работу втягиваешься! Благоднее, выше науки все-та-

ки ничего в мире нету! Завершить же учение по горному делу нас отправили в Саксонию, в Фрейберг, где первейшие в Европе рудники, особенно серебряные. Там открылся мне еще и другой драгоценный рудник — стихи славного немецкого стихотворца Гюнтера.[35] Музыка, да и только! Попробовал я и сам писать тем же ямбическим складом русские стихи...

— Как писана ода твоя на взятие Хотина?

— Вот-вот. Сочинил я ее как раз тогда в Фрейберге и оттуда отправил сюда, в академию. Но соловья баснями не кормят. Из Марбурга в Питер выслали синодик наших долгов. Академия уплатить их уплатила, но сократила нам зато стипендии наполовину — до полутора ста рублей, да наказала еще нашему новому патрону в Фрейберге, берг-физикусу Генкелю, выдавать нам на руки не выше одного талера в месяц.

— Однако! Ну, а вы что же?

— Сбежали, разумеется, я первый.

— Куда это?

— А назад в Марбург к невесте. Но пришла беда — отворяй ворота. Отца моей Христины не оказалось уже в живых, и сама она сидела

без гроша, а родных у нее ни души. Что тут долго раздумывать? Взяли мы, пошли вместе к пастору да и дали повенчать себя.

— Но на что же вы жить-то хотели? — заметил Самсонов. — Ведь и сам ты, Михайло Васильич, был еще в долгах?

— Любовь, друг любезный, не рассуждает. Заимодавцы и то собирались уже меня в долговую яму упрятать. Хоть Лазаря пой, хоть волком вой. Порешил я тут съездить в Голландию к посланнику нашему, графу Головину, авось-де выручит земляка.

— И выручил?

— Нет, не тут-то было.

— Для таковых оказий, — говорит, — особых сумм нам не положено. Академия наук вас командировала, к ней и адресуйтесь.

Волей-неволей пришлось повернуть опять оглобли в Марбург. А денег в кармане у меня не только на обратный путь, но и на продовольствие ни гроша ломаного уж не оставалось. Хоть ложись и с голоду помирай! Оказали мне тут посильную помощь купцы архангельские, что наехали за товарами в Амстердам (дай Бог им здоровья!). Добрался я так

хоть пешочком, да не впроголодь почти до самого Марбурга. На последнюю ночевку занесла меня нелегкая на постоялый двор, где стояла тоже партия новобранцев-пруссиков. Чтобы помирить тех с солдатской долей, офицер угощал их вином, расхваливал им, расписывал военное житье-бытье. Велел он и мне тоже подать вина, подливал стакан за стаканом. Задвоилось у меня в очах, голова кругом пошла. Как сидел, так и заснул я за столом, а наутро, проснувшись, гляжу: стоят передо мной офицер и вахмистр, с королевско-прусской службой поздравляют. Оторопь меня взяла.

— С какой такой службой? — говорю. — Я — верноподданный русской царицы...

— Вчера ты, милый, был еще таковым, — говорит офицер, — а нынче ты такой же, как и мы, пруссак и наш товарищ-солдат.

— Дудки! — говорю. — Donnerwetter![36] Никогда я не буду вашим товарищем.

— Да ты проспал, знать, что было вчера, — говорит тут вахмистр.

— А что же было?

— Было то, что ты с господином поручи-

ком ударил по рукам, пил с ним за здоровье нашего короля и принял задаток.

— Никакого, — говорю, — задатка я и брать не думал.

— А что у тебя в кармане-то?

Я хватать рукой в карман. Что за дьявольщина: горсть серебра да золота!

— А на шее что у тебя?

Гляжу в зеркало: на шее-то красный воротник! А вахмистр смеется, треплет меня по плечу:

— Ну, что, кто прав? Да что ты нос на квинту повесил. Полно, дружище. Kopf hoch! (Голову вверх!) Из тебя еще выйдет лихой кавалерист, на параде все красавицы наши на тебя заглядятся.

А мне, женатому человеку, какое уж до них дело! Каково, брат, положенье-то?

Ломоносов сделал небольшую паузу, чтобы промочить пивом горло.

— Положенье незавидное, хуже, почитай, даже крепостного, — согласился Самсонов. — Но неужели ты так им сейчас и дался?

— А что ж я, один и безоружный, мог поделаться против воинской силы? По жестоком на



теле наказания в кандалы бы еще только заковали. Пришлось показать вид, что покорился. И погнали нас, рекрутов, в прусскую крепость Везель затем, чтобы мы не дали тяги. Надзор за нами был установлен строгий, а за мной тем наипаче.

— Но ты все-таки улизнул?

— Улизнул, но и теперь еще, как вспомню, мурашки по телу бегают. Первым делом надо было их бдительность усыпить. Притворился я, что службой зело доволен, и стали присматривать за мной уже полегче. Но выбратся на волю было не так-то просто: вокруг крепости были два вала и два рва, валы превысокие, а рвы преглубокие и наполнены водой. За вторым рвом еще частокол и палисадник, а на первом валу расхаживают часовые под ружьем: только сунься — уложат наповал. Выбрал я ночку темную, безлунную, выждал, пока товарищи мои в карауле не заснули крепким сном, и стал тихонько одеваться, одевшись же, выскользнул за дверь. От караулки до вала было недалеко. Добрался я незамеченный до вала. За теменью часовых наверху не видать, слышу только, как шагают они по ва-

лу, как бряцают оружием и перекликаются. Господи, благослови! Влез я к ним на вал, ползком меж двух часовых спустился в первый ров и вплавь добрался до второго вала. Тем же порядком перебрался и через второй вал, через второй ров на контрэскарп (противоположный откос рва).

Платье на мне промокло до костей, — хоть выжми, но главная опасность была все-таки уже позади. Передохнув, я перелез через частокол в палисадник, а оттуда в открытое поле.

До гессенской границы от крепости было верст восемь. Там, в чужой земле, пруссаки меня не смели уже тронуть.[37] Но не сделал я еще и двух верст, как из крепости за мною пушечный выстрел: бум! Это означало: «дезертир». А дезертир не жди уже пардона: в двадцать четыре часа расстреляют. Впереди же у меня еще целых шесть верст, добегу ли? Между тем на востоке стало уже светать, скоро и народ поднимется со сна, увидит бегущего и сцапает... Страх окрылил меня, лечу вперед без оглядки. Наконец-то граница! Как сноп повалился я в траву: дыханья уже не

хватило...

— Слушая тебя, Михайло Васильич, и у меня у самого, признаться, дух заняло, — сказал Самсонов. — А жена тебе в Марбурге, я думаю, как обрадовалась?

— Что и говорить! Но жить нам все же не на что было, не на что и в Питер выехать. Отписал я о том в академию, завязалась переписка, послал нам за то время Господь и дочку. В конце концов, однако, выслали мне вексель, и мы тронулись с места. И вот я у цели — у преддверья моего храма... Kellner, Bier [38]

# Глава двадцать третья

## В ЧЕМ СЧАСТЬЕ

— В преддверье тебе, Михайло Васильич, живется хоть еще и не очень-то красно, — заметил Самсонов, — но не нынче-завтра тебя сделают тоже академиком...

— Улита едет, когда-то будет! — отвечал Ломоносов. — Но академиком я, конечно, однажды буду: плохой солдат, что не надеется сделаться генералом. Две работы по физике и химии я на днях уже представил на суд академии. Уповаю, что они заслужат мне место адъюнкта. Нашим немцам-академикам ведь на руку, что нашелся им молодой русский товарищ, знающий и по-немецки: могут меня для своих работ использовать. Для меня же место адъюнкта до поры до времени — венец желаний. Ты не поверишь, что за услада погрузиться этак до макушки в свои собственные изыскания физические и химические. Умиляешься духом, забываешь кругом весь свет с его мелочными дрызгами...

— А жалованье адъюнкта изрядное?

— На меня с женой и ребенком хватит: триста рублей в год. Не об одном хлебе человек жив бывает. Счастье, брат, не в богатстве, а в довольстве тем, что есть, паче же того в любимом труде.

— В любимом и свободном! — вздохнул Самсонов. — Ты, Михайло Васильич, совсем ведь свободен...

— Ни один человек, друг мой, даже самый знатный, самый богатый, не совсем свободен. Наравне с нами он связан, прежде всего, законами природы: притяжением земли, сном, едой и питьем...

— Но наслаждаться благами жизни он может всюю.

— Ты думаешь? Спроси-ка на совесть у этих господ, что едят за обедом десять отборных блюд, заливают их дорогим заморским вином, находят ли они в этом еще наслаждение? Всего уже они перепробовали, все-то им давным-давно приелось. Нам с тобой кружка такого простого пива, наверное, куда вкуснее, чем им шампанское. Но помимо законов природы для них, как и для нас, существуют еще законы человеческие, и чем кто богаче,

знатнее, тем крепче он, неразрывнее связан цепями условностей своего общества. Возьми любого вельможу: ему надо иметь очень гибкую спину, быть всегда готовым лететь со всех ног, куда прикажут, выслушивать всякие пошлости и глупости с приятной улыбкой. Словом, он весь век свой до гробовой доски — раб своих житейских обязанностей, лакей высшего ранга.

— Но продать его первому встречному все-таки никто не может!

— Продать — нет, но столкнуть с высоты, и чем выше кто вознесся на поприще государственности, тем ниже он падает при колоссальных житейских невзгодах. Живой пример у нас на глазах: Волынский, Бирон. Ты хоть и крепостной человек, но цесаревнин, и особого гнета свыше, верно, не испытываешь?

— Не могу пожаловаться.

— И свободного времени в течение дня у тебя час-другой найдется?

— Найдется.

— Так чего ж тебе еще? Стало быть, в эти свободные часы ты можешь отдаваться любимому делу. Для меня путеводная звезда — на-

ука, в ней я почерпаю бодрость и силу. Не знаю, есть ли у тебя такая же любознательность и охота к строгой науке...

— Любознательность-то есть, и цифирь я живо прошел, но настоящие ученые книги, признаться сказать, мне не гораздо даются...

— Чересчур сухи и скучны, а?

В ответ на усмешку Ломоносова Самсонов смущенно улыбнулся.

— Выше лба уши не растут, — сказал он. — Пользы-то прямой для жизни от них я не вижу.

— Ну так они для тебя — книга о семи печатях. Я вот еще мальчиком в Холмогорах мечтал сделаться раз Коперником.

— А это что еще, выше академика?

Ломоносов рассмеялся.

— Нет, милый друг, Коперник был великий ученый, который жил двести лет до нас. Он доказал, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вокруг солнца.

— И я как-то читал про то, да так ли это?

— Так, как и то, что земля около своей оси вертится. Сам я тоже спервоначалу этому не верил и пошел в поле, приник ухом к земле,

не расслышу ли, как она вертится, не скрипит ли без дегтю?

— И расслышал?

Такая наивность еще более рассмешила молодого ученого.

— Ну, голубчик Гриша, Коперника из тебя, боюсь, не выйдет. Но я не из тех, для коих только и свету что в своем окошке. Чем быть ученым попугаем, каких на свете тоже довольно, лучше тебе стать толковым деловым человеком. Деловые люди столь же нужны матушке-России, как и ученые. К какому же делу, скажи, у тебя всего больше склонность?

— Вырос я в деревне, — отвечал Самсонов, — сызмала пригляделся к деревенскому обиходу. Летом, когда в ливонском имении графа Миниха, за болезнью старика-управляющего, мне пришлось всем орудовать, дело это мне еще крепче полюбилось. А в этом году, когда мы с камер-юнкером цесаревны Разумовским разъезжали по имениям ее высочества проверять приказчиков, я понаторел и по счетной части.

— Прехвально. Стезя твоя, стало быть, явно судьбой тебе предуказана. У самого у меня



книг по сельскому хозяйству не имеется, но в библиотеке нашей академии, полагаю, найдутся, правда, не на русском языке, а на немецком. Но ведь немецкую грамоту ты тоже знаешь?

— Знаю. Я был бы тебе, Михайло Васильич, так уж благодарен!

— За что? Помогать ближнему — прямая обязанность всякого, а для брата нареченного — долг святой. Завтра же справлюсь у нашего библиотекаря.

С этими словами Ломоносов встал и кликнул слугу, чтобы расплатиться. Самсонов вынул было также свой кошелек, но Ломоносов даже готов был рассердиться: когда же гость платит за себя! А так как полученной им от жены гривны оказалось недостаточно для полной расплаты, то он приказал слуге полгривны отдать хозяину, полгривны оставить себе, а остальную сумму приписать к старому долгу. Слуга с низкими поклонами проводил его на улицу.

— А я, Михайло Васильич, хотел спросить тебя еще вот о чем, — начал тут снова Самсонов. — Ты — человек многоученый и рассуд-

ливый. Как ты, скажи, смекаешь насчет цесаревны Елизаветы Петровны?

— В каком смысле?

— Да ведь цесаревна — значит наследница престола, не так ли?

— Так.

— И названа она цесаревной ведь еще тогда, когда покойная государыня Анна Иоанновна на престол воссела?..

— И с собой из Курляндии Бирона, а тот целое стадо таких же грубых скотин вывез? — досказал Ломоносов. — Верно.

— Но она и доселе цесаревной еще величается, — продолжал Самсонов. — Стало быть, право это за ней как прежде признавалось, так и теперь еще будто признается?

— Похоже на то.

— А коли так, то как же по кончине царицы Анны Иоанновны ее вдруг обошли?

— Обошли потому, что к тому времени родился наследник мужеского пола.

— Но после него-то она все-таки ближайшая еще наследница престола?

— Да ты, братец, к чему всю эту речь kloнишь? — недоумевая, спросил в свою очередь

Ломоносов.

— А к тому, что... Ты вот, Михайло Васильич, воспел на днях годовщину рождения младенца-императора...

— Ну?

— И воспел от чистого сердца?

— От чистого, предвидя в младенце будущего счастливого монарха.

— Да здоровьем-то он, идет говор, слаб и выживет ли еще, Бог весть.

— А не выживет, так корону его воспримет по полному праву цесаревна Елизавета Петровна.

— И ты воспоешь ее тогда точно так же?

— Воспою, с вящим, быть может, еще пламенем, ибо ею унаследован, слышно, и острый ум ее великого родителя. Воспеваю я ведь вместе с тем и нашу милую родину, Россию, благо которой мне всего дороже.

— Коли так, Михайло Васильич, то могу по тайности поведать тебе, что оказия к тому тебе скоро, может, представится.

Ломоносов на ходу остановился и окинул своего юного спутника подозрительным взглядом.

— Да ты, сударик мой, уж не конспиратор ли? Не злоумышляешь ли чего против нашей законной правительницы-принцессы?

— Сам я ничего не замышляю...

— Так кто же? Да нет, не говори, я и знать не хочу! Безобидность принцессы и сердечную доброту все восхваляют...

Самсонов, однако, в порыве откровенности не мог уже не поделиться волновавшими его сомнениями с таким душевным человеком, каким показал себя с ним Ломоносов.

— Безобидна-то она безобидна и добра, даже выше меры, — сказал он. — Доверилась этому Остерману и делает уже все по нем. А Остерман, все равно что Бирон, не выносит русского духу, окружил нашу цесаревну своими соглядатаями и поджидает только случая, чтобы уличить ее в происках и упрятать в монастырь. Так нам, русским людям, совсем житья уже не станет.

— Да, это не дай Бог!

— То-то и есть. А гвардейцы наши, можно сказать, молятся на цесаревну. Так дивно ли, что им не терпится провозгласить ее царицей?

— Эх, милый человек! Не след бы тебе об этом мне сказывать, а мне тебя слушать! Почему ты знаешь, не выдам ли я тебя? Чужая душа — дремучий бор.

— Нет, Михайло Васильич, ты-то, я знаю, меня не выдашь.

— Да, мое дело — сторона, я в политику не мешаюсь.

— Так расскажу тебе еще то, что недавно сам своими ушами слышал. Сижу я одним вечером за работой в кабинете Разумовского, заходит тут к нему знакомый офицер-гвардеец, рассказывает: так и так, мол, ходили они, молодые гвардейцы, день за днем в Летний сад, выжидая, не выйдет ли туда погулять и матушка цесаревна. Дождались наконец, всей гурьбой к ней навстречу:

— Матушка! Мы все начеку, ждем только твоих велений!

А она им в ответ:

— Ради Бога, молчите! Услышат вас, так и себя-то погубите и меня сделаете несчастной.

— Но терпения нашего, — говорят, — уже не стало, долго ль еще нам томиться, матушка?

— Как приспееет время, — говорит, — так дам вам знать. А теперь, дети мои, разойдитесь и ведите себя смирно.

— Да, дела, дела! — промолвил раздумчиво Ломоносов. — Но доколе монархом у нас юный Иоанн Антонович, нам с тобой, верно-подданным придержашей власти, не о чем рассуждать, а делать только по совести свое собственное дело...

В таких разговорах собеседники незаметно добрали до местожительства Ломоносова. Услыхав на дворе голос мужа, мадам Христина высунулась из окошка и погрозила пальцем.

— Аминь, аминь, рассыпья! — пробормотал про себя Ломоносов. — Здешняя моя пре-держажая власть, как видишь, не велит нам шуметь: девчурка, верно, сейчас только заснула. Так ты уж не взыщи. А книжки для тебя в библиотеке я уж подышу. До свиданья, дружище!

Крепкое рукопожатье — и они расстались.

# Глава двадцать четвертая ГЕРОЙ РЫЦАРСКОГО РОМАНА СХОДИТ СО СЦЕНЫ

Вскоре для Ломоносова нашлась новая стихотворная тема: 28 августа русские войска одержали под Вильманстрандом первую победу над шведами:

*Российских войск хвала растет,  
Сердца продерзки страх трясет,  
Младый орел уж льва терзает...*

Начинавшаяся такими словами новая ода понравилась правительнице еще более прежних.

— Ведь у шведов в государственном гербе лев, а у нас орел, — говорила она Юлиане.

Младый орел уж льва терзает...

Это мой мальчик-то! Чем бы наградить мне теперь молодого автора?

— Давно ли ваше высочество его наградили? — возразила Юлиана. — Пусть старается. Слишком баловать этих русских не следует:

избалуются.

— Ты думаешь? Ну, что ж, подождем.

И, успокоясь на этом, Анна Леопольдовна забыла уже про нашего поэта. К тому же ведь через несколько дней в первых числах сентября ее рыцарь, граф Линар, должен был отбыть в Дрезден на два, а может быть, и на целых три месяца. Чтобы сделаться обер-камергером петербургского двора, а потом (как передавалось пока шепотом) и герцогом курляндским, ему приходилось предварительно сжечь за собой корабли: отказаться не только от должности сак-сонско-польского посланника, но и вообще от подданства саксонскому курфюрсту, и ликвидировать все свои частные дела.

Прощальная аудиенция Линара у правительницы прошла своим порядком.

Поразило Лили только то, что Юлиана, разлучавшаяся на целые месяцы с объявленным женихом, выказала при этом случае гораздо более самообладания, чем принцесса. Все существо статс-фрейлины, как всегда, было насквозь пропитано тончайшим эфиром придворного этикета, на устах ее играла стерео-



типная улыбка, а на глазах — ни слезинки.

— Я попрошу вас, граф, на минутку зайти еще ко мне, — проронила она, когда Линар, поцеловав руку правительницы, отдал и ее фрейлинам прощальный поклон.

"Она хочет проститься с ним без свидетелей, — сообразила Лили. — Сердце у нее все же не совсем ледяное. Вот подглядеть бы!"

Желание ее исполнилось. По окончании аудиенции Анна Леопольдовна вдруг спохватилась:

— Чуть было ведь не забыла! На столике у меня, Лили, под киотом, знаешь, маленький образок...

— Принести прикажете?

— Да, да, только поскорее.

Когда Лили принесла ей образок, представлявший художественной работы миниатюрный лик Спасителя, принцесса приложилась сперва к святому лику, а затем поспешила в комнату Юлианы. Лили, пользуясь своим новым положением фрейлины, последовала туда за ней.

Обрученные, стояли оба у письменного столика, невеста — с шкатулкой в руках, а же-

них — с пером, которым он только что расчеркивался на каком-то листочке. Посыпав свой росчерк из песочницы золотым песком, он сложил листочек вчетверо и с поклоном подал невесте, а та, в обмен, вручила ему шкатулку.

— Так-то вернее, — сказала Юлиана. — Кто может предвидеть всякие случайности?

Тут только оба заметили вошедшую правительницу.

— А у нас тут, ваше высочество, свои семейные счета, — со своей томной улыбкой объяснил Линар.

Принцесса, казалось, хотела по поводу семейных счетов задать какой-то вопрос, но одумалась и указала Линару на образок в своих руках:

— Вот образ Христа Спасителя. Вам, любезный граф, предстоит дальний путь, и мне хотелось бы благословить вас. Хотя вы и не православный, но Спаситель у нас с вами общий.

Линар преклонил колено, и она благословила его образком.

— Носите его на груди, и всякие опасности минуют вас.

— Ни днем, ни ночью я с ним не расстанусь, — произнес Линар как бы растроганным голосом и, достав платок, начал усиленно сморкаться. — Не будет ли у вашего высочества для меня какого-либо поручения?

— У меня была бы к вам большая просьба...

— Она наперед исполнена.

— Вы, граф, столько говорили мне о своем родовом замке на берегу Эльбы... Вот если бы вы велели срисовать его для меня, у вас в Дрездене ведь так много славных художников...

— Желание вашего высочества для меня закон.

— Только нарядитесь сами рыцарем (ведь в вашем семейном музее есть рыцарские доспехи?) и станьте на подъемном мосту или, еще лучше, сядьте верхом на коня, покрытого стальной броней, точно вы сейчас только собираетесь на турнир или в крестовый поход.

— Не премину, ваше высочество. У меня есть ввиду и художник.

— Чудно! Я буду вам так благодарна. А мы с Юлианой тем временем приготовим для вас

обоих укромное гнездышко. Я решила дать в приданое за Юлианой дом герцога Бирона. Вы знаете ведь его? Тут, сейчас около Зимнего дворца.

— Знаю, ваше высочество, это тоже настоящий дворец. Безграничная доброта ваша замыкает мне уста... А теперь мне пора. Храни вас Бог, принцесса! Прощай и ты, моя дорогая!

Поднося к губам руку невесты, Линар окинул комнату последним взглядом и заметил при этом стоявшую в стороне Лили.

— Вам, баронесса Врангель, тоже всего лучшего, — сказал он. — Ко времени моего возвращения я твердо надеюсь найти вас уже замужем.

Слово «твердо» он произнес с особенным ударением и покосился при этом многозначительно на принцессу и Юлиану.

— Слышала, Лили? — спросила Юлиана, когда дверь за женихом ее затворилась. — Он требует, чтобы ты непременно вышла за Шувалова, и нарочно как будто приберег это под самый конец.

— Ваше высочество! — взмолилась Лили к

Анне Леопольдовне. — Вы не хотели ведь принуждать меня...

— Хорошо, хорошо... — успокоила ее та, утирая глазакружевным платком. — Но скажи мне теперь, Юлиана, в чем он дал тебе расписку?

— А в тех деньгах и бриллиантах, что он отвозит в Дрезден.

— Точно ты ему не доверяешь!

— Еще я с ним, ваше высочество, не обвенчана. Как только он привезет квитанцию дрезденского банка, расписка будет уничтожена. Я забочусь не столько даже о моих собственных деньгах, сколько о той сумме, которая выручится от продажи ваших бриллиантов и пойдет на расходы по вашей коронации...

— Тс-с-с! Вопрос об этом окончательно еще не решен.

"Она хочет короноваться! — пробежало в мыслях Лили. — Стало быть, провозгласит себя и императрицей и отнимет корону у своего сына? Сама она наверное этого не придумала, а все этот противный Линар... О, если б он не возвратился!"

Она не предвидела, как не предвидели и Анна Леопольдовна с Юлианой, что граф Линар навсегда уже сошел со сцены.

# Глава двадцать пятая СЛОНЫ ПЕРСИДСКОГО ШАХА

С отъездом своего рыцаря правительница, обыкновенно столь пассивная ко всему окружающему, исполнилась небывалой энергии и жажды деятельности. С особенным жаром принялась она за устройство судьбы Юлианы, точно не ее статс-фрейлина, а она сама выходила замуж. Вместе осмотрели они предназначенный для молодых дом Бирона и распределили в нем все помещения, вместе заказывали всю квартирную обстановку, все хозяйственные принадлежности, белье, платья, а придворный бриллианщик Позье чуть не каждый день являлся во дворец с полными всяких драгоценностей ящичками, чтобы принцессе было из чего выбирать.

Более обыкновенного интересовалась она теперь и государственными делами. Питая непреборимую антипатию к своему первому министру графу Остерману, явно дружившему с принцем Антоном-Ульрихом, она при-

близила к себе графа Головкина, человека ума недалекого, но несомненно ей преданного. По его указанию, без предварения о том даже Остермана и своего супруга, она назначила шестерых новых сенаторов. Когда те представились принцу, последний принял их сухо, а затем наговорил принцессе столько неприятных слов, что она поручила Головкину выработать для принца особую инструкцию, которою несколько умалялась его власть, и сделала распоряжение о вызове из ссылки прежнего кабинет-министра Бестужева-Рюмина. Это еще более обострило отношения двух партий немецкого лагеря: принца и Остермана с одной стороны, принцессы и Головкина — с другой.

Между тем у той и другой партии был один общий противник — цесаревна Елизавета, против которой им волей-неволей приходилось действовать сообща. На случай, если бы не удалось сосватать ее за принца Людвига брауншвейгского, Остерман предложил выдать ее за шаха персидского.

— Чтобы христианка вышла за мусульманина, разве это возможно! — возражала



принцесса. — И целую жизнь проводить ей, как в тюрьме, в гареме!.. Она на это, я уверена, не согласится.

— И я не верю, — сказал Остерман с своей тонкой усмешкой.

— Так для чего в таком случае вообще вся эта комедия?

— Для того, чтобы нанести решительный удар популярности самой опасной претендентки на российский престол, сделать ее смешною в глазах гвардии и всего русского народа. Смех в этих случаях поражает вернее пули.

— Но это неблагородно! — возмутилась Анна Леопольдовна.

— Благородство, ваше высочество, вещь в своем роде прекрасная, но в политике не применимая.

— Да и сам шах Надир, говорят, фанатик, и вряд ли станет свататься к христианке.

— А мы предложим ему в приданое за цесаревной царство Астраханское. Азиат, увидите, пойдет на удочку.

Правительница глубоко вздохнула:

— Ну, делайте, как знаете.

"Азиат", в самом деле, пошел на удочку и снарядил особое посольство с подарками как правительнице, так и цесаревне. Главным подарком принцессе должны были быть четырнадцать слонов, для которых приходилось соорудить особые «храмины». Постройка этих «храмин», а проще сказать — высоких амбаров, возложена была на придворных архитекторов Земцова и Шумахера. Подходящее для слоновых амбаров место архитекторы наметили сперва в слоновом бору на Литовском канале, где имелся уже и довольно обширный бассейн. Но слоновый мастер Леонтий нашел, что место то хоть и сухое, да вода в канале известковая, твердая, и купаться слонам в реке Фонтанке куда полезительней. Пришлось подчиниться компетентному мнению специалиста, и «храмины» стали воздвигаться на старом слоновом дворе у Летнего сада, где содержался уже один слон, игравший столь видную роль полтора года назад в национальной процессии на свадьбе карликов покойной царицы. Самый крупный из шаховых слонов, как предварил персидский посланник, отличался своим крайне буйным нра-

вом, особенно в пьяном виде, и кое-кого уже искалечил. А так как старому слону отпускалось (кроме белого виноградного вина к обеду) в летнее время по ведру водки в неделю, а в зимнее по четверти ведра в день, и новым слонам нельзя было отказать в такой же порции, то под действием винных паров большой буйный слон мог натворить еще всяких бед. Поэтому для его слонихи возвели отдельную «храмину». Перед «храминами» была очищена площадка для прогулки шаховых слонов, а к реке оттуда был сделан скатный мост, с которого слоны с удобством могли спускаться в воду для купанья.

Незадолго до прибытия слонов спохватились проверить прочность Аничкова моста, который, по своей ветхости, чего доброго, мог провалиться под их тяжестью. Настил моста, в самом деле, оказался насквозь прогнившим. Тогда нашли нужным освидетельствовать и остальные столичные мосты, по которым предстояло шествовать слонам, и еще четыре моста были признаны неблагонадежными. На всех пяти мостах был закрыт для обывателей проезд, и днем и ночью стучали топоры.

Весь город заговорил вдруг о шаховых слонах и о сватовстве шаха к цесаревне.

Выдача родной дочери царя Петра замуж за нехристя, очевидно, против ее воли, не могла не вызвать в народе новые, враждебные немецкой партии толки. Всего более, конечно, были возмущены преданные Елизавете Петровне гвардейцы. Однажды как-то старого слона водили гулять мимо Царицына луга. Гвардейцы высыпали из своих палаток и принялись поносить слоновых вожаков отборной бранью. Когда же слоновщик Ага-Садук не остался у них в долгу, в него полетели камни. На другой день главная полицейская канцелярия выпустила публикацию, в которой предлагалось всем жителям столицы, под страхом строжайшего взыскания, "в провожании слона слоновщику помешательства не чинить".

Видеть шаховых слонов всем, однако, хотелось, и когда разнесся слух, что слоны прибыли уже в Царское Село и наутро будут в Петербурге, с раннего утра навстречу им, как водится, двинулись толпы зевак.

В это самое время в Зимнем дворце, при за-

мкнутых дверях, с глазу на глаз происходили объяснения между правительницей и нарочно приехавшей к ней цесаревной. Что говорилось между ними, так и осталось неизвестным. Но вот в дверях показалась опять цесаревна, лицо ее пылало, голова была гордовскинута. Следовавшая за ней с заплаканными глазами принцесса напрасно умоляла ее:

— Да уверяю же вас, милая тетя, что сама я на это не была бы капабель (способна)... Все этот Остерман...

— Кто первый подал вам мысль — мне решительно все равно, доискиваться интриганов я не стану, — сухо отвечала цесаревна.

— Но как же нам быть с посланником шаха?..

— Чтобы не было вам конфузий, я его с подарками, пожалуй, приму, без особых, конечно, реверансов, а что скажу ему, о том весь свет потом узнает — и вы с другими.

Никогда еще, казалось, у дочери великого преобразователя России не было такой царственной осанки, с какой она, удаляясь, кивнула на прощание правительнице.

— Вот видишь ли, Юлиана! — жалобно об-

ратилась та к своей наперснице. — Бог знает, что она теперь наговорит посланнику!

— Чем больше эта история наделает шуму, тем лучше, — отвечала Юлиана.

— Нет, нет, довольно! Я не допущу до нее посланника, да и сама не хочу уже видеть ни его, ни его слонов.

— Слонов видеть вам и не нужно, они сделали свое дело. Но аудиенцию посланнику вам все-таки дать придется.

— Ты думаешь?

— Непременно!

Таким образом, слоны были направлены прямо на слоновый двор, аудиенция же персидского посланника состоялась два дня спустя. Приняв присланные ей и ее царственному сыну от шаха драгоценные подарки, правительница заявила посланнику, что подарки для цесаревны могут быть доставлены также в Зимний дворец.

— Но я имею точное приказание от моего повелителя лично вручить их ее высочеству цесаревне, — возразил посланник.

— Ваше превосходительство напрасно только себя беспокоите, — вступилась тут

присутствовавшая при аудиенции Юлиана. — Никого из дипломатического мира цесаревна теперь не принимает.

— Вот именно, никого не принимает! — поспешила подтвердить принцесса.

Посланнику ничего не оставалось как откланяться, а подарки, предназначенные для суженой его повелителя, доставить в Зимний дворец. Так-то эти подарки были получены цесаревной не из рук самого посланника, а из рук обер-гофмейстера правительницы, графа Миниха-сына, на которого вместе с генералом графом Апраксиным было возложено это щекотливое поручение. Елизавета Петровна, полагая, что это новое оскорбление придумано ее заклятым недругом Остерманом, объявила посланцам:

— Вы, господа, исполнители чужой воли, и против вас самих я ничего, разумеется, не имею. Но тем, кто послал вас и кто не в первый уже раз ставит меня в такое амбара, передайте от меня, что всякому долготерпению есть конец.

— Но ваше высочество жестоко ошибаетесь, — счел долгом оправдать свою госпожу

Миних. — Правительница питает к вам самые родственные чувства...

— Верю. По своей сердечной доброте она сама никогда не придумала бы тех унижений, которым подвергает меня по совету своего злого гения — графа Остермана. Скажите ему от меня, что он напрасно забывает, кто он и кто я, забывает, чем он обязан моему родителю, который вывел его в люди. Я же никогда не забуду, что мне дано милостью Божией и на что я имею невозбранное право по моему происхождению!

— А самой правительнице ничего больше не прикажете сказать?

— Скажите, что иной раз одна последняя капля переполняет чашу.

— Одна последняя капля переполняет чашу... — раздумчиво повторила Анна Леопольдовна, когда выслушала доклад молодого Миниха. — Что тетя Лиза понимает под этой последней каплей?..



# Глава двадцать шестая

## ЧЕТЫРЕ МАНИФЕСТА

Тем временем из двинутой в Финляндию русской армии графу Остерману был прислан экземпляр зажигательного манифеста шведского главнокомандующего Левенгаупта к нашей армии. В манифесте этом говорилось, что война предпринята с целью "избавить достохвальную русскую нацию от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить свободное избрание законного и справедливого правительства".

Страдая опять сильными подагрическими болями, Остерман поручил своему другу, обер-гофмаршалу графу Левенвольде, показать манифест правительнице. Прочитав манифест, принцесса спросила Левенвольде, что он сам думает. Тот пожал плечами и отвечал с обычной осторожностью:

— В манифесте, ваше высочество, прямо не упоминается ни о вас, ни о цесаревне, говорится только о чужеземном притеснении и

избрании законного правительства. Нетрудно, однако, прочесть между строк, что под этим разумеется, хотя прицепиться как будто и не к чему. Вообще, надо отдать шведам справедливость: манифест написан тонко и остро.

— Очень остро, — согласилась Анна Леопольдовна и заговорила о чем-то другом.

Остерман на этом не успокоился. Через того же Левенвольде он представил правительнице проект письма к шведскому главнокомандующему от имени главнокомандующего над русскими войсками, в котором сообщалось, что в одной финляндской деревне найден некий возмутительный манифест к русской армии, якобы подписанный им, Левенгауптом; но так как подобные манифесты от неприятеля не приняты у христианских народов, то оный манифест, нет сомнения, выпущен без его ведома, а потому не благоволят ли он, Левенгаупт, объявить его подложным.

— Хорошо, оставьте это у меня, — сказала принцесса, отодвигая ящик стола, чтобы положить туда бумагу.

— А ваше высочество не прочитаете те-

перь же? — спросил обер-гофмаршал. — Граф Остерман считает дело неотложным.

— Как он мне надоел, ваш Остерман! Скажите, что когда прочитаю, то и попрошу его к себе.

День шел за днем, а приглашения от правительницы все не было. Между тем, благодаря своим шпионам, Остерман узнал, что у принцессы были уже какие-то таинственные совещания, сперва с архиереем новгородским Амвросием Юшкевичем, потом с его близким приятелем, действительным статским советником Тимирязевым, что Тимирязев, в свою очередь, отправился к своему приятелю, секретарю иностранной коллегии Познякову, до-ке по сочинению правительственных сообщений, и тот просидел после того целую ночь напролет над какими-то двумя бумагами, которые поутру отвез к Тимирязеву. Несколько дней спустя во дворец был вызван новый кабинет-министр Бестужев-Рюмин. А его, Остермана, главу кабинета, все еще не вызывают! Почва, видимо, уходила у него из-под ног. Он счел нужным испросить себе экстренную аудиенцию.

Анна Леопольдовна, принимая его, не могла скрыть легкого замешательства, что еще более подтвердило в опытном дипломате возникшие в нем подозрения.

— Вашему высочеству благоугодно было доверить господину Тимирязеву, помимо меня, составление двух, первостепенной важности, государственных актов, — приступил он прямо к делу. — Ранее их опубликования не дозволите ли мне как первому министру познакомиться также с их содержанием, чтобы потом не потребовалось опровержения или разъяснения.

Правительница еще более смутилась и поспешила оправдаться:

— Я не хотела, граф, вас беспокоить, потому что... потому что вы же сами ведь писали манифест, где мои дочери обойдены вовсе от наследования престола...

— Манифест о престолонаследии, ваше высочество, писался действительно у меня на дому, но не мною единолично, а сообща несколькими государственными мужами. Притом дочерей у вас тогда ни одной еще не было...

— А теперь есть дочь. Как же было не восстановить ее в правах?

— Не стану спорить, может быть, и желательно дополнить эту недомолвку. Так, наобум, высказаться сейчас по столь серьезному вопросу я не берусь. Об этом, следовательно, трактует один из манифестов, сочиненных господином Тимирязевым? А другой?

— Другой...

Анна Леопольдовна запнулась.

— Другой предусматривает возможность смерти и дочерей? — наугад продолжал допытывать Остерман.

Догадка его, по-видимому, была близка к истине, потому что принцесса растерянно оглянулась на притворенную дверь.

— Где моя Юлиана?..

И она потянулась к серебряному колокольчику на столике около ее оттоманки. Но Остерман задержал ее руку.

— Дозвольте, принцесса, обойтись нам без посторонних советов, которые напрасно усложнили бы только дело. Раз вы признали нужным пересмотреть вопрос о престолонаследии, то не прикажете ли обсудить его в

небольшой комиссии, в которую можно было бы пригласить, например, князя Черкасского и архиерея новгородского Юшкевича.

— Хорошо... Пригласите тоже графа Головкина...

— Слушаю-с. Новым манифестом, который был бы выработан комиссией, взамен обоих проектов господина Тимирязева, можно было бы достойно ознаменовать день вашего рождения, девятого декабря. Не знаю только, не противоречил ли бы этому манифесту, последний проект кабинет-министра Бестужева-Рюмина?

Такое заявление захватило правительницу совсем врасплох. Вся вспыхнув, она пробормотала:

— Так вы слышали и об этом проекте? Кто вам выдал?..

У Остермана почти не оставалось теперь уже сомнений в справедливости дошедшего до него, через его ищеек, слуха о намерении Анны Леопольдовны, еще при жизни сына, самой занять престол.

— Ваше высочество! — заговорил он злоуще-строгим тоном. — Вы играете с огнем. На-

рушая права вашего сына, всеми признанного уже государя, вы даете вашим врагам возможность возбудить кандидатуру цесаревны Елизаветы, на стороне которой, несомненно, более симпатий русского народа, особенно же гвардии. Как любительница фантастических историй вы читали, разумеется, арабские сказки "Тысяча и одна ночь"?

— Еще бы.

— Есть там одна сказка про злого духа, закупоренного в бутылку. Бутылку разбили, и заключенный в ней злой дух вырос в один миг в громадного исполина. Наш злой дух — русская гвардия и русское простонародье: дайте им волю, и борьба станет для нас непосильной. Что тогда нас всех ожидает, тому есть в недавнем прошлом немало примеров.

Туго поддаваясь до сих пор на все рассудочные резоны Остермана, правительница была побеждена последним его образным аргументом.

— Ах, Боже мой, Боже мой! — воскликнула она. — Эта ужасная гвардия будет теперь моим вечным кошмаром! Но что же нам теперь делать?

— Единственное радикальное средство — немедленно удалить всю гвардию из Петербурга, чтобы прервать всякие сношения с ней цесаревны.

— Удалить? Но куда?

— Куда как не в Финляндию. Пускай проливает там свою кровь во славу вашу и вашего царственного сына.

— А что ж, и в самом деле! Так вы, любезный граф, устройте это с фельдмаршалом Минихом?

— Миних вашему высочеству по-прежнему верен, но со мной он в контре, а потому оставим его в стороне. Приказ о выступлении гвардии должен последовать для всех совершенно неожиданно, чтобы не дать русской партии опомниться.

— Но как отнесется к этому тетя Лиза? Она будет наверное очень огорчена и рассержена. Как бы уладить мне это с ней по-родственному?

— При всем уважении к вашим родственным чувствам, принцесса, я должен настаивать на соблюдении строжайшей тайны относительно удаления гвардии.



— Но тетя мне этого не простит... А мне хотелось бы сохранить с ней добрые отношения...

— Так при первой же встрече с ней затроньте родственные струны. Вы, дамы, на этот счет ведь большие мастерицы.

— Попытаюсь...

— Попытайтесь, ваше высочество, попытайтесь, — сказал Остерман и, очень довольный достигнутым результатом, откланялся.

# Глава двадцать седьмая

## ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

В понедельник, 23 ноября, в Зимнем дворце был простой куртаг, то есть съезд придворной знати для карточной игры под звуки итальянской музыки. Прибывшая также на куртаг цесаревна играла за одним столом с правительницей. Но партнеры их, иностранные посланники, не могли не заметить, что настроение той и другой было совсем необыкновенное: Елизавета Петровна была задумчива и печальна, Анна Леопольдовна же выказывала несвойственную ей нервность.

Когда в игре наступил небольшой перерыв, обе они, как по уговору, встали из-за стола, и принцесса взяла цесаревну по-родственному под руку.

— Что это ты, тетя Лиза, такая грустная? — начала она сердечным тоном. — И зачем ты, скажи, всегда в этакое полутрауре?

Елизавета Петровна действительно давно уже изо дня в день появлялась в самых простых платьях из белой тафты на серой под-

кладке.

— Радоваться мне нечему, — отвечала она со вздохом. — А что до моих нарядов, то богатые, как твои, знаешь, мне не по средствам, долги делать я не желаю.

— Но в иностранных курантах уже пишут, что ты почти не показываешься в публике, ходишь во вретнице, точно недовольна своим положением.....

Говоря так, правительница незаметно направилась с цесаревной в свои внутренние покои.

— Милая Анюта! — заговорила тут же с горечью цесаревна. — Скажи сама, могу ли я быть довольной, когда со всех сторон окружена шпионами Остермана?

— Да он воображает, что у тебя тайные альянсы и корреспонденции со шведским королем...

— И ваше высочество этому верите?

— Дорогая тетя! Зачем этот официальный тон?

: — И через кого, позвольте спросить, я веду те альянсы и корреспонденции? — продолжала не менее официально Елизавета.

— По словам Остермана, через маркиза де ла Шетарди. Впрочем, утверждает это не один Остерман...

— А кто ж еще?

— Мне пишут о том же из Дрездена и советуют...

— Что советуют?

— Советуют просить французского короля отозвать маркиза, а его приятеля Лестока арестовать.

— Этого-то вы, принцесса, не сделаете. Лесток мой лейб-хирург, и за него я отвечаю. Да и какая мне надобность в посредничестве Лестока, когда сам, Шетарди и без того навещает меня.

— Так зачем же, *chère tante*, [39] вы его принимаете? Прошу вас, в виде особого одолжения, не принимайте его.

— Рада бы сделать вам приятное, но с посланником шутить не положено. Можно сказать ему раз, другой, что меня нет дома, в третий раз он уже не поверит.

— Он должен поверить, если ему так сказано, или, по крайней мере, показать вид, что верит.

— А правительству своему он донесет другое. Да вот не далее еще как вчера, маркиз подъезжает к моему дворцу в ту самую минуту, когда я выхожу из саней. Тут не помогли бы никакие декларасьоны.

— Вы могли бы отговориться мигренью.

— Нет, лгать не в моих правилах. Но если у вашего высочества уж такой каприз, то прикажите Остерману объявить напрямую маркизу, чтобы он перестал ездить ко мне...

— Так вот Остерман сейчас меня и слушает!

— А зачем же ты, душечка, его слушаешь, коварного и присяжного врага России?

— Но ведь он мой главный министр!

— Если уж он, главный министр, не решится это сделать, то как же я-то решусь? Ты меня, Анюта, так расстроила, что я ночи спать не буду...

Слезы заглушили голос цесаревны, и она прижала к глазам платок. Этого было достаточно, чтобы и принцесса прослезилась.

— Милая тетя Лиза! Ну, прости меня, не обижайся...

— Я не памятозлобна, но мне было так

больно, что ты меня супсонируешь (подозреваешь)...

Мир между ними был закреплён объятием и несколькими звучными поцелуями. Минуту спустя они, с влажными ещё глазами, но с улыбкой на устах, вышли опять рука об руку к другим.

На другой день, 24 ноября, Елизавета Петровна была немало удивлена визитом своего лейб-хирурга в неурочно ранний час. Вид у него был такой разгоряченный, что она с усмешкой спросила, не заезжал ли он уже к Иберкампфу. Лесток был известный гастроном и один из самых усердных посетителей модного тогда ресторана Иберкампфа на Миллионной, где, впрочем, к услугам петербургских модников имелись также парижские парики и венские кареты.

— Да, ваше высочество, — пропыхтел Лесток, утирая фуляром струившийся у него со лба пот. — Я сейчас от Иберкампфа...

— Что ж, пришла свежая партия фленсбургских устриц?

— Теперь, ваше высочество, мне не до устриц... Я застал уже там нескольких знакомых

гвардейских офицеров. Они встретили меня с полными бокалами:

— А, доктор! Пожалуйте сюда, пожалуйста. Мы пьем прощальную чашу.

— Прощальную чашу? Что это значит, господа?

— Это значит, что мы завтра выступаем в Финляндию, под предлогом, будто бы Левенгаупт подошел к Выборгу. Сейчас только получен приказ от имени правительницы.

— И это после всех вчерашних слез и поцелуев! — воскликнула цесаревна, гневно сверкая глазами. — Знаете ли, доктор, что принцесса уже советовала вас арестовать?

Лейб-хирург весь даже побледнел от испуга.

— Меня? Да за что, за что?

— За посредничество между мною и Шетарди. Надо решить что-нибудь теперь же.

— По соглашению с Шетарди?

— Нет, пока мы и без него обойдемся. Приезжайте ко мне вечером как бы на карточную партию. Будут только мои камер-юнкеры. Вместе все и обсудим.

Карточная игра у цесаревны в тесном кру-

гу близких ей лиц не могла возбудить подозрения даже у тех из соглядатаев Остермана, которые сумели втереться в число прислуги елизаветинского дворца. Когда играющим подали чай и игра на время прекратилась, царственная хозяйка заговорила вполголоса:

— Все вы, господа, конечно, уже знаете, что моих гвардейцев удаляют завтра в Финляндию. Тогда я буду беззащитна и руки у врагов моих развязаны. Так вот, я хотела потолковать с вами, что теперь предпринять. Вам, любезный доктор, как старшему, принадлежит слово.

— В принципе переворот ведь уже решен, — начал Лесток. — Ожидалось только генеральное сражение со шведами, и если бы шведы одержали победу, то при их содействии, по мнению маркиза де ла Шетарди, не представилось бы уже затруднений устранить правительницу с Остерманом. Но наши войска, усиленные гвардией, могут теперь победить шведов...

— И слава Богу, если победят! — прервал лейб-хирурга Воронцов. — Вообще я, признаться, всегда был против этой комбинации



маркиза, столь унижительной для нашей храброй армии.

— Но мы должны дорожить союзом с Швецией и Францией...

— Которые, поверьте, преследуют только свои собственные интересы.

— Пожалуйста, Михайло Илларионович, дай досказать доктору, — вмешалась тут цесаревна. — Продолжайте, доктор.

— На чем я, бишь, остановился? — заговорил снова Лесток. — Ах да, на перевороте. Предполагался он не ранее как во второй половине января. Но гвардия уходит, — и, как совершенно справедливо заметили только что ваше высочество, руки у врагов наших будут развязаны. Правительнице советовали уже арестовать меня, и если меня посадят в застенки, то я ни за что не отвечаю: один из ста, а то и из тысячи человек имеет настолько твердой воли, чтобы мужественно вынести пытку. Я чувствую уже на спине своей кнут, а под кнутом в чем не признаешься! Даже в том, чего вовсе и не было.

— Что это вы говорите, доктор! И как вам не совестно? — раздалась кругом негодую-

щие голоса.

— Эх, господа, господа! Вы люди молодые и не знаете человеческой природы, а я сужу как старый врач. Если бы у любого из вас стали вытягивать на дыбе жилы, ломать кости, то в припадке умопомрачения, чтобы поскорей только избавиться от нестерпимых мучений, вы точно так же, пожалуй, рассказали бы такие вещи, которые вам и во сне не снились.

— Оставим, любезный доктор, ваши соображения о слабости человеческой природы, — сказала Елизавета Петровна, заметив, как от откровенного мнения лейб-хирурга молодых придворных ее невольно покорило. — Так что же вы предлагаете с своей стороны?

— Ускорить переворот.

— Вот это так! — подхватил с жаром Воронцов. — Завтра же преданная вашему высочеству гвардия уходит, и насколько времени — одному Богу известно. Таким образом, в нашем распоряжении остается всего одна ночь до утра. Обстоятельства нам в том отношении также благоприятствуют, что в эту самую минуту большой съезд у графа Головкина по случаю именин его жены, графини Ека-

терины Ивановны. Будет ужин, будут танцы. Не успеют гости разъехаться, как все будет уже окончено, и врагам нашим придется примириться с совершившимся фактом, вдобавок и Швеция, и Франция останутся с носом, что будет им за их интриги очень здорово.

— Ты, Михайло Илларионович, как человек военный, ни перед чем не оетановишься, — возразила цесаревна. — Но ты забываешь, что я — женщина, а предприятие это требует необычайной мужской отваги...

— Да кому и быть отважной, как не той, в жилах которой течет кровь Великого Петра! Верно ведь, господа?

— Верно! Воронцов, ваше высочество, совершенно прав! — подхватили братья, Шуваловы и принялись оба в свою очередь доказывать необходимость немедленного решения.

— А ты, Алексей Григорьевич, что скажешь? — обратилась цесаревна к молчавшему до сих пор Разумовскому.

— Крый, Маты Божа! Шо я тобі скажу, моя матусенька? — был ответ. — Боюсь я за драгоценную жизнь твою, как станешь деклеровать себя на царство, нехай Бог тебя милуе:

пойдет стрельба, кроволитие...

— Да, господа, — сказала Елизавета, — я сама не выношу вида крови. Отвечаете ли вы мне за то, что не прольется ни капли крови?

— Примем к тому все меры, ваше высочество, — уверил Воронцов. — Я сам упрежу гвардейцев.

Во второй половине своего тайного совещания заговорщики наши перешли с французского языка на русский. Поэтому Лесток, высказавший уже определенно свое мнение, не принимал участия в дальнейшем разговоре. Достав из своей записной книжки карандаш, он рисовал что-то сперва на одной игровой карте, потом на другой.

— А доктору нашему и горя мало, — заметила цесаревна. — Занимается картиночками!

— Угодно вашему высочеству взглянуть на эту картинку? — сказал Лесток, подавая ей первую карту. — Вот что ожидает вас, если вы не решитесь сейчас же.

На карте была изображена легкими контурами, но схоже, сама цесаревна с обрезанными волосами и в иноческой одежде, среди

нескольких других монахинь.

— Этого никогда не случится! — воскликнула она и скомкала в руке карту.

— Так вы мало еще знаете Остермана и принца-супруга. Принц прямо-таки высказал, конечно, со слов Остермана, что вы не первая русская женщина, которую заточили в монастырь. А вот что предстоит вам, если вы не будете колебаться, — продолжал хирург-художник, подавая второй рисунок. — От вас самих зависит-выбирать то или другое.

На этом рисунке Елизавета была представлена восседающей на престоле в короне и порфире, со скипетром в руке, и окруженной ликующим народом. Решимость великого родителя блеснула в глазах дочери Петра.

— Так вы, господа, все за немедленное действие? — спросила она, глубоко переводя дух, и на общий утвердительный ответ набожно перекрестилась. — Значит, будем действовать! Господь нас не оставит.

Воронцов наклонился к Разумовскому и стал с ним о чем-то шептаться.

— Оце добре, — согласился Разумовский.

— Да вы о чем это, господа? — спросила це-

саревна.

— К Зимнему дворцу ваше высочество должна самолично повести деташемент[40] преображенцев, а для сего вам придется побеспокоить себя в их казармы, — объяснил Воронцов. — Но если бы среди ночи было приказано заложить для вас ваш придворный экипаж, то об этом сразу узнали бы здесь многие из нижней прислуги, а уверены ли вы, что в вашем дворце нет ни одной души, подкупленной Остерманом?

— Кто может отвечать теперь за всех своих людей!

— Так не разрешите ли вы мне повезти вас в моих собственных санях?

— А в своем кучере ты, Михайло Илларионыч, совсем уверен?

— Вот об этом-то мы и толковали сейчас с Разумовским. На облучок мы посадим самого верного человека, на которого мы оба с ним полагаемся, как на самих себя.

Надо ли говорить читателям, кто был тот верный человек?

# Глава двадцать восьмая ПЕРЕВОРОТ 25 НОЯБРЯ 1741 ГОДА

Момент для государственного переворота был выбран как нельзя более удачно. Правительница и принц-супруг, убаюканные тем, что на следующий день вся враждебная им гвардия будет уже за пределами Петербурга, отправились преспокойно ко сну. Не пользовавшийся благорасположением принцессы первый кабинет-министр, граф Остерман, со своей стороны был крайне доволен, что раз-то хоть предложенная им радикальная мера — удаление гвардии — беспрекословно приводится в исполнение. Чтобы доказать своему антагонисту, графу Головкину, что он не прочь первый протянуть руку примирения, Остерман не отказался прибыть к нему на семейное торжество — именины его супруги, графини Екатерины Ивановны, к которой ведь, благодаря ее родству с царствующим домом,[41] съехались и другие русские вельможи, и все представители иностранных дер-

жав. Сам Головкин, однако, как назло, не был в состоянии оценить такую любезность своего товарища по кабинету: несколько ночей уже он провел без сна вследствие мучительных подагрических болей и мигрени. После же всех дневных передраг из-за спешного выступления гвардейских полков нервы его до того расхотелись, что он не вышел даже к гостям из спальни. Гостям его тем менее могло прийти в голову, что они веселятся здесь в последний раз, празднуя как бы тризну хозяев.

Из «Записок» бывшего бироновского полицеймейстера, а в данное время сенатора, князя Якова Петровича Шаховского, видно, что "все комнаты, кроме той, где сожаления достойной хозяин, объятый болезнями, страдал, наполнены были столами, за коими как в обеде, так и в ужине более ста обоего пола персон, а по большей части из знатнейших чинов и фамилий торжествовали, употребляя во весь день между обеда и ужина, также и потом в веселых восхищениях танцы и русскую пляску с музыкою и песнями, что продолжалось до 1-го часа за полночь, по домам разъехались".



Сам автор «Записок», как свой человек, временами "делал компанию хозяина, одному в своей комнате с болезнями борющемуся", по разъезде же гостей зашел еще раз проститься, и хозяин "слабым голосом, но весьма ласковыми словами" благодарил его и пожелал ему "скорее в дом свой ехать благополучно к успокоению".

Ни тот, ни другой, очевидно, нимало не подозревали готовившегося исторического момента.

Между тем в 12 часу ночи во дворец цесаревны явились посвященные в дело Воронцовым семь человек преображенцев из грендерской роты, то есть самых рослых молодцов целого полка. Войдя к ним, Елизавета обратилась к выступившему вперед сержанту:

— А! Это ты, Грюнштейн? Что же вам, дети мои, нужно?

— А мы за тобой, матушка, — отвечал Грюнштейн. — Собирайся! Время дорого.

Несмотря на принятое уже раньше решение, цесаревну взяло опять как будто раздумье.

— Чего тут, матушка, еще раздумывать! —

настаивал бравый сержант. — Не пойдешь доброй волей, так ведь мы уведем тебя силой!

— Да что-то страшно мне...

— С нами тебе чего страшиться? Мы за тебя, матушка, рады наши головы сложить! — в один голос уверили все семь человек.

Цесаревна была растрогана.

— Обождите тут минутку, — сказала она и вышла, чтобы помолиться у себя перед образом Спасителя.

Как узнали впоследствии ее приближенные, она дала себе при этом клятвенное обещание никогда в жизни не подписывать смертного приговора.

Окончив молитву, она взяла крест и вышла опять к ожидавшим ее гренадерам.

— Поклянитесь мне, дети мои, на сем кресте, что будете служить мне верой и правдой.

Те поочередно приложились ко кресту, повторяя один за другим:

— Клянусь!

— Когда Бог явит Свою милость нам и всей России, я не забуду вашей верности, — сказала Елизавета. — А теперь ступайте и соберите роту во всей готовности и тишости, чтобы не

было алярма. Сама я немешкотно за вами приеду.

Самсонов был немало удивлен, когда тем же вечером Разумовский, возвратясь домой от цесаревны, вызвал его к себе и велел ему ровно в полночь быть у Воронцова.

— Письмо отнести? — спросил он.

— Нет. Там Михайло Илларионович на месте тебе уже скажет, какая в тебе треба.

С последним боем полуночного часа Самсонов входил к Воронцову.

— Ну, Григорий, твой час настал, — объявил ему Воронцов. — Ты вздыхал ведь все по воле...

Сердце в груди у Самсонова екнуло.

— Цесаревна дает мне вольную?

— погоди, не торопись. Волю свою ты должен еще заслужить. Ведь править лошадьми ты не разучился?

— Помилуйте! Разве любимой забаве своей можно разучиться?

— Ну, вот. Так через час времени ты пове- зешь нашу матушку цесаревну...

— К Зимнему дворцу! — подхватил Самсонов с сияющими глазами.

Воронцов опасливо огляделся.

— Ч-ш-ш-ш! Громко таких вещей не выговаривают. Кучер мой третьего дня отпросился к жене в деревню. Конюх же править парными санями еще не мастер. Так вот на сей раз ты будешь у меня за кучера.

— Не знаю, как и благодарить вас, Михайло Ларивоныч...

— Долг платежом красен. Надеюсь, ты нас с цесаревной не вывалишь из саней?

В ответ Самсонов только улыбнулся.

Таким образом во втором часу ночи к елизаветинскому дворцу на Миллионной из-за угла со стороны Царицына луга подъехали парные сани, в которых сидел Воронцов, а на облучке Самсонов в кучерском платье. У подъезда ожидали уже другие парные сани. Воронцов вошел во дворец, а немного погодя оттуда показалась цесаревна с немногими приближенными. В сани к Самсонову села сама Елизавета вместе с Лестоком, на запятки вскочили Воронцов и один из братьев Шуваловых.

— На Кирочную к Преображенским казармам! — вполголоса приказал Воронцов Самсо-

нову — и сани полетели.

При повороте Самсонов заметил, что и другие сани с остальной свитой несутся за ними.

Сколько раз ведь он правил так лошадьми, но теперь ему сдавалось, что он летит вольной птицей не только к своему собственному счастью, но и везет с собой всю судьбу, все счастье России.

Вот он завернул на Кирочную, а вот и Преображенские казармы, состоявшие тогда из нескольких деревянных строений. У главного здания в ожидании своей «матушки» стояла толпа гренадер. В числе их был и барабанщик. Завидев «матушку», он забил было тревогу. Лесток выскочил из саней и кинжалом перерезал кожу на его барабане. Часть гренадеров разбежалась по соседним домам сзывать товарищей, а остальные, ликуя, проводили цесаревну к себе в казармы.

Как охотно последовал бы за ними и Самсонов! Но лошадей ему не на кого было оставить, да его туда и не пустили бы. Впоследствии уже узнал он подробности, о которых будет сейчас рассказано.

Офицерство Преображенского полка, не

имея казенных квартир, жило по частным домам в центре города, в казармах же дежурило по очереди. В эту ночь единственный дежурный офицер спал в дежурной комнате главного здания сном праведных, ничего не чая, почему в столовую этого здания, куда вошла цесаревна, стеклись одни нижние чины.

Когда от нее приняли шубу, она оказалась в латах, а рука ее опиралась на трость, как на саблю. Поводя кругом орлиным взором, она спросила:

— Ребята! Вы знаете, чья я дочь?

В ответ загудел хор голосов:

— Как не знать, матушка! Ты родная дочь незабвенного царя Петра Алексеевича.

— Так вы все идете со мною?

— Все идем, матушка! Веди нас против твоих недругов, мы всех их перебьем!

В голосе и чертах лица воспламененных воинов было столько неистового зверства, что в искренности их намерения перебить недругов нельзя было сомневаться.

— Если вы так жестоки, то я не пойду с вами, — объявила цесаревна. — Убивать я нико-со не позволю. Но если вам самим пришлось

бы умереть, готовы ли вы отдать жизнь за меня?

— Готовы, матушка, все готовы!

— Помолимся же вместе Богу, чтобы Он не отвернулся от нас.

Все, по ее примеру, опустились на колени. Поцеловав бывший у нее крест, она дала торжественную клятву:

— Клянусь перед Всевышним Богом умереть за вас! Клянетесь ли вы точно так же умереть за меня?

— Клянемся! — был единодушный ответ.

— Идем же, и пусть каждый из нас думает лишь о том, что делает это для счастья своего отечества.

Поднялся такой шумный радостный гомон, что проснулся наконец и безмятежно спавший рядом в дежурной комнате молодой офицер. Протерев глаза, он вбежал к своим подчиненным с обнаженной шпагой. Но при виде цесаревны он остановился как вкопанный.

— Вы, сударь, арестованы, — объявил ему Воронцов, отнимая у него шпагу. — Извольте возвратиться в дежурную и не выходите отту-

да, пока вас не выпустят из-под ареста.

Цесаревна, приказав на всякий случай разрезать кожу на всех барабанах, вышла со своими спутниками опять на улицу и села в сани.

— На Невскую перспективу и к Зимнему дворцу! — крикнул Воронцов Самсонову, вскакивая сам на запятки.

— Только потише, братец, потише, — добавила от себя Елизавета, — а то мои молодцы-гренадеры за мною не поспеют.

— Не бойсь, матушка, — весело отозвались окружающие сани гренадеры. — Бегом за тобой поспеем хоть на край света!

Еще в казармах Воронцов отдал необходимые приказания унтер-офицерам, и теперь дорогою от роты в триста гренадер отделялись небольшие отряды в 20, в 30 человек, чтобы произвести на дому аресты главарей немецкой партии: Остермана, Головкина, Левенвольде, а также старика Миниха, который в силу присяги, данной им правительнице, чего доброго, помешал бы еще успешному окончанию предприятия.

Когда сани цесаревны с Невской перспек-



тивы выехали на Дворцовую площадь, площадь оказалась совершенно пустынной, и покрывавшая ее снежная пелена едва освещалась мерцавшими в отдалении масляными фонарями около Зимнего дворца. Чтобы не возбудить подозрения дворцовой стражи, Елизавета вышла из саней и пошла пешком. Но глубокий снег и женское платье замедляли ее шаги.

— Так, матушка, мы не скоро доберемся, — заметили ей гренадеры. — Поторопись ма-ленько!

Когда же она, при всем старании, не могла приноровиться к размашистому шагу рослых молодцов, двое подняли ее на руки и донесли так до дворца. Четверо караульных у главного входа, окоченев на морозе, не успели прийти в себя, как были обезоружены. В самой же караульне как солдаты, так и их начальники поголовно спали. Когда гренадеры растолкали спящих и объяснили, что вот-де перед ними матушка-цесаревна, те спросонок не могли вначале даже сообразить, в чем дело.

— Не бойтесь, друзья мои, — заговорила Елизавета. — Хотите ли служить мне, как от-

цу моему и вашему служили? Вам ведомо, каких я нужд натерпелась и еще терплю от немцев, сколько терпит от них и весь наш русский народ. Освободимся от наших мучителей!

Тут солдаты ее поняли и отвечали единогласно:

— Давно мы этого дожидались, матушка, и что повелишь, то и сделаем!

Офицеры же нерешительно переглядывались, а один из немцев вздумал было призывать подчиненных к долгу службы. Но ему не дали договорить. Один гренадер повалил его на пол и тут же приколол бы штыком, не отклони сама цесаревна штык его в сторону.

— Замкнуть этих господ в их комнате! — приказала она. — Занять все лестницы и выходы, а принца и обер-гофмейстера принцессы взять под стражу! Сама я иду к принцессе. Десять человек за мной!

И впереди десяти гренадер будущая императрица поднялась во второй этаж, где находились собственные апартаменты правительницы. Подойдя к двери спальни, Елизавета нашла ее только притворенной. Дверь раство-

рилась без всякого шума. Погруженные в мирный сон, Анна Леопольдовна и Юлиана Менгден, спавшая в последнее время при ней, очнулись только тогда, когда над ними раздался голос цесаревны:

— Пора вставать, принцесса!

Та в первую минуту была только озадачена:

— Как! Это вы, тетя Лиза?

Но тут взор ее упал на стоящих на пороге гренадер, и вдруг все ей стало ясно. Глаза ее наполнились слезами, и, сложив руки, она начала умолять не делать зла ее малюткам.

— Ни им, ни вам самим ничего не будет, — уверила ее цесаревна.

— Так вы не разлучите меня с ними?

— Нет, они останутся при вас.

— А Юлиана? Я без нее жить не могу!.. Пожалуйста меня!.. Оставьте ее тоже мне...

— Хорошо. Теперь вставайте, только поскорее. Я беру вас к себе.

Сама Елизавета вместе с принцессой села в одни сани, двое других саней были поданы для арестованных между тем принца Анто́на-Ульриха и Миниха-сына и для Юлианы,

Лили и Юшковой с двумя младенцами принцессы. По прибытии всех в елизаветинский дворец маленький Иоанн Антонович, проснувшись, расплакался. Цесаревна взяла его на руки и стала целовать.

— Бедняжечка! Ты-то ни в чем не виновен, виноваты во всем твои родители.

# Глава двадцать девятая ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Аресты указанных Воронцовым главных приверженцев принцессы и принца состоялись не без протестов со стороны арестуемых. Памятуя требование своей матушки-цесаревны — не проливать ни капли крови, гренадеры действительно не прибегли к своему воинскому оружию, но сочли себя вправе убедить сопротивляющихся логикою своих дюжих гренадерских кулаков.

Сам Воронцов, Лесток и старый учитель музыки цесаревны Шварц разъезжали между тем по городу, чтобы оповестить о случившемся знатнейших безобидных вельмож и сановников, с приглашением незамедлительно пожаловать к цесаревне.

В то же время двадцать гренадер, оседлав себе в дворцовых конюшнях верховых коней, помчались к казармам других гвардейцев с приказом двинуться со знаменами к елизаветинскому дворцу, а по пути кричали всем слу-

чайным встречным о счастливом исходе переворота. Не прошло и часу времени, как пустынные в глухую ночную пору улицы невской столицы стали все более оживляться гвардейскими полками, экипажами царедворцев и пешеходами из простых обывателей.

Упомянутый уже выше сенатор князь Шаховской был поднят среди ночи с постели сильным стуком в оконный ставень и зычным окриком сенатского экзекутора Дурново, звавшего его наискорее во дворец цесаревны, изволившей принять престол российского правления. В его «Записках» мы находим такое безыскусственное и вместе с тем картинное описание тогдашних его впечатлений:

"Хотя ночь была темная и мороз великий, но улицы были наполнены людьми, идущими к цесаревнину дворцу, а гвардии полки с ружьем шеренгами стояли уже вокруг одного в ближних улицах, и для облегчения от стужи во многих местах раскладывали огни, а другие, донося друг другу, пили вино, чтобы от стужи согреться, причем шум разговоров и громкое восклицание многих голосов "Здрав-

ствуй, наша матушка, императрица Елизавета Петровна!" воздух наполняли. И тако я до одного дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не мог, вышел из оной, пошел пешком, сквозь множество людей с учтивым молчанием продираясь, и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша, вошел на первую с крыльца лестницу и следовал за спешащими туда же в палаты людьми, но еще прежде входа, близ уже дверей, увидел в оной тесноте моего сотоварища, сенатора князя Алексея Дмитриевича Голицына. Мы, содвинувся поближе, спросили тихо друг друга, как это сделалось, но и он так же, как и я, ничего не знал. Мы протеснились сквозь первую и вторую палату и вошли в третью, увидя многих господ знатных чинов, остановились и лишь только успели предстоящим поклониться, как встретил нас ласковым приветствием тогда бывший при дворе ее величества камер-юнкером Петр Иванович, Шувалов. Он, в знак великой всеобщей радости, веселообразно поцеловал нас и рассказал нам о сем с помощью Всемогущего начатом и благополучно оконченном деле и что главнейшие

доньне бывшие министры, а именно: генерал-фельдмаршал граф Миних, графы Остерман и Головкин — уже все из домов своих взяты и под арестом сидят здесь же, в доме".

Не так дружелюбно отнесся вначале к приспешнику Бирона выбежавший в это время из другой палаты бывший при Бироне генерал-полицеймейстером, а теперь отставной генерал-аншеф (полный генерал) Василий Федорович Салтыков. Схватив Шаховского за руку, он рассмеялся ему в лицо:

— Что скажете теперь, сенаторы?

Когда же оскорбленный Шаховской спросил его, атакует ли он его по высочайшему повелению, Салтыков перешел с насмешливого тона на приятельский:

— Я, друг мой, теперь от великой радости вне себя, и сей мой поступок по дружеской любви, а не по какой иной причине...

Пожелав ему еще всякого благополучия и поздравив со всеобщей радостью, он расцеловал Шаховского в обе щеки.

Такое же приподнятое настроение замечалось и у огромного большинства присутствующих. Не было видно только троих: канцлера



князя Черкасского, остермановского кабинет-секретаря Бреверна и недавно вызванного из опалы прежнего кабинет-министра Бестужева-Рюмина. Но те заперлись в одном из внутренних покоев, чтобы составить манифест о перемене правления, а также формулу присяги и титулов.

В восемь часов утра состоялся высочайший выход. Новая императрица, в голубой Андреевской ленте и радостно взволнованная; при входе своим милостиво наклоняла голову направо и налево, озаряя всех и каждого своей сияющей улыбкой, а затем стала принимать поздравления, допуская поздравителей по очереди к своей руке.

— Теперь ваше величество не покажетесь ли и народу? — тихонько напомнил ей Воронцов.

— Правда! — согласилась она и вышла на открытый балкон.

Появление молодой царицы было встречено восторженными кликами толпившегося внизу народа и выстроенного вокруг дворца войска. Елизавета не уставала кланяться в ответ на все стороны, пока Воронцов не заме-

тил ей опять, что при таком морозе ей легко и простудиться.

— Я вся огнем горю, так где уж тут простудиться! — отвечала она. — Надо мне поблагодарить еще и моих гвардейцев.

И, спустившись вниз к кирасирам, конной гвардии и трем гвардейским пехотным полкам, она прошла по их рядам, приветствуемая оглушительным "ура!". Когда же она объявила, что принимает на себя звание полковника их полков, восторг гвардейцев не знал уже предела.

По возвращении в свои покои новая императрица приняла знатных дам, после чего приказала собираться всем в Зимний дворец. Когда она с ближайшей свитой садилась в большую открытую линейку, из стоявшей тут же гренадерской роты выступил опять сержант Грюнштейн:

— Матушка государыня, а мы, гренадеры, к тебе еще с просьбицей.

— Если могу, то непременно ее исполню, — отвечала Елизавета. — В чем ваша просьба?

— Не откажи нам, матушка, в милости, объяви себя капитаном нашей роты!

— С удовольствием, дети мои.

— Ура! Ура! Ура!

— А теперь, — продолжала она, — за мной в мой императорский дворец отслужить благодарственный молебен и принять присягу в верности.

Молебен в придворной церкви Зимнего дворца, а затем и присяга совершились с требуемой торжественностью при громогласной пальбе орудий с Петропавловской крепости. Все закончилось только в пятом часу дня.

Еще, однако, до общего разъезда государыня велела привести к себе взятого в плен под Вильманстрандом адъютанта главнокомандующего шведской армией капитана Дидерона, который, к немалому недоумению придворных, был вызван ко двору еще с раннего утра.

— Вот, господин капитан, ваше оружие, — обратилась она к нему по-французски, вручая ему отнятую у него шпагу. — Вы свободны и можете ехать к себе домой во всякое время. На путевые издержки вам будет выдано от нас пятьсот червонцев. Как очевидец, вы можете с полной достоверностью рассказать ва-

шему главнокомандующему о нашем благополучном воцарении. Надеюсь, что он теперь же прекратит неприязненные действия, дабы дать нам время войти вновь в дружественные отношения с его королевским величеством.

# Глава тридцатая

## БОЛЬ ВРАЧА ИЩЕТ

Со времени перемены правления прошло три дня. Бывшая правительница была водворена вместе со своим семейством в смежное с Зимним дворцом здание. Не только их самих держали в строгом заключении, но и их приближенным было запрещено выходить на улицу или принимать посторонних. Так и Лили Врангель не имела никакого общения с внешним миром, когда ее вдруг вызвали в приемную и она увидела перед собой молоденькую кузину императрицы.

— Аннет... — пробормотала она, но не тронулась ей навстречу.

Скавронская быстро сама подошла к подруге и крепко ее поцеловала, после чего подвела к дивану и усадила рядом с собой.

— Дай-ка посмотреть на тебя, — говорила она, повертывая ее голову к свету. — Ай-ай! Куда девался твой свежий румянец, твои блестящие глазки? Верно, все время проплакала?

— Да как же не плакать! — упавшим голо-

сом прошептала Лили. — Мою милую принцессу, говорят, высылают в Германию...

— Да, нынче вышел об этом высочайший манифест. И слава Богу! Могло бы быть хуже.

— Еще хуже!

— Да вот старик Миних, Остерман, барон Менгден, дядя Юлианы, посажены в крепость и будут лишены, как я слышала, чинов, орденов, всего имущества. Принцессе, во всяком случае, сохранится ее брауншвейгский орден, а принцу — и высший русский Андрея Первозванного. На дорогу им дадут денег, сколько нужно, и до границы проводят их со всем почетом.

— Но зачем же теперь-то с ними обходятся как с арестантами? К ним не доходят никакие вести...

— Да может ли их еще что-нибудь интересовать? Коли хочешь, то передай им, что ко всем иностранным дворам посланы курьеры с известием о восшествии на престол новой государыни, сделаны уже шаги, чтобы заключить прочный мир со Швецией, Долгорукие, Голицыны и другие опальные возвращаются из ссылки...

— Да, все это для принцессы теперь, конечно, не представляет уже ни малейшего интереса.

— Ну, вот. Пришла я к тебе, впрочем, не из-за этих новостей, а из-за тебя самой. Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя планы в будущем?

— У меня планы? — со вздохом повторила Лили. — Принцесса хочет взять меня с собой в Германию.

— Вместе с Менгденшей?

— А то как же.

— Но ладишь ли ты с этой интриганкой?

— С Юлианой? Сказать правду, ей ужасно трудно угодить...

— Потому что она ревнует тебя к принцессе?

— Вероятно...

— Так тебе, бедняжке, там от нее просто житья не будет. А в душе признайся, ты все-таки больше русская, чем немка?

— Я очень люблю Россию. Россия — моя родина, и я ни за что бы не уехала, если б не принцесса и ее крошки. Сыночек ее особенно ко мне привязался...

— Все это прекрасно, но и принцесса, и ее сынок тебя скоро забудут, как и ты их.

— Я-то их никогда не забуду, никогда!

— Ну, не забудешь, так со временем все же утетишься. Там, у себя в неметчине, они в тебе не будут уже нуждаться. Оставайся-ка, милочка, у нас, в России! От добра добра не ищут.

В тусклом взоре Лили блеснул какой-то свет, но мгновенно он опять погас.

— Кому здесь до меня какое дело!

— Как кому? Прежде всего мне: мы с тобой, кажется, так дружны...

— Ах, милая Аннет! Когда ты выйдешь за своего Мишеля, никаких подруг тебе уже не надо будет.

— Вздор говоришь, душечка, муж — одно, подруга — другое. Пока ты сама не выйдешь замуж, мой дом будет и твоим домом...

— Я тебе, Аннет, сердечно благодарна. Но о замужестве я и не думаю.

— Зато другие думают. Один претендент просил меня даже быть посредницей.

— Уж не Шувалов ли?

— Именно. Я не подала большой надежды,



потому что хотя ты ему чрезвычайно нравишься, но он льститя, кажется, и на твое приданое. Государыня обещала уже ему дать за тобой не меньше, чем дала бы принцесса.

— Да я-то про него и слышать не хочу! Не говори мне о нем, пожалуйста.

— Молчу. Но сердце у тебя болит, а боль врача ищет. Неужели в целой России нет человека, который бы тебя вылечил?

Легкая краска выступила на щеках Лили.

— Нет, — пробормотала она. — Такого человека я не знаю.

— И нет вообще никого, кроме меня, с кем бы тебе было жаль расстаться?

— Один-то есть...

— Гриша Самсонов?

— Да, я люблю его почти как брата. Но он крепостной человек...

— Государынин. Так могу сказать тебе по секрету, что государыня только колеблется еще, дать ли ему вольную прямо от себя или уступить его тебе за свой старый долг.

— За какой долг?

— Да разве ты забыла, что одолжила ей свой заветный грош для покупки того же Сам-

сонова. В реконесанс она отдала бы тебе его самого. Тогда от тебя зависело бы отпустить его на волю или оставить его при себе вечным рабом. Но все это, разумеется, только при одном условии, чтобы ты сама оставалась в России. Ну, что же, выбирай: Менгденша или Самсонов?

Вся зардевшись, Лили вместо ответа бросилась на шею подруги:

— Ах ты милая!

— Стало быть, Самсонов?

— Да...

Вечером того же дня Воронцов послал за Самсоновым.

— Ну, Григорий, — сказал он, — чаял я, что с воцарением государыни нашей Елизаветы Петровны тебе выйдет вольная, а не вышло-то иначе. Отдает тебя государыня в чужие руки.

На лице Самсонова изобразилось такое разочарование, что Воронцов не мог сохранить своего притворно-серьезного вида.

— Да ты слишком-то не полошайся, — продолжал он с улыбкой. — У твоей новой госпожи ручки нежные...

— У госпожи?

— А ты не догадываешься, кто эта особа?

— Может, невеста ваша, графиня Анна Карловна?

— Нет. Неужели тебе сердце твое ничего не вешает? У нее тоже по тебе сердце болит, а боль врача ищет...

Вся кровь хлынула Самсонову в голову.

— Вы говорите про Лили... то есть про Лизавету Романовну?

— Угадал. Но ты словно и не особенно рад?

— Да уж какая радость! Ведь она, слышно, уезжает навсегда с принцессой?

— Собиралась, точно. Но когда ей предложили на выбор либо уехать к немцам, либо остаться здесь у одного русского, который отдается ей в рабы, она ни минутки не задумалась и выбрала — остаться. Ну, что, полегчало немножко?

— Полегчало. Она все-таки считает меня как бы за молочного брата.

— А если ты ей милее не токмо молочного, но и родного брата?

Самсонову почудилось, что его толкнули с крыши многоэтажного дома и он стремглав летит вниз.

— Да статочное ли это дело, Михайло Ларивоныч?.. — пробормотал он.

— Говорю я с тобой душевно, не блажно. Ты вот по ней сохнешь и сокрушаешься и сам тоже присушил сердце девичье.

— Но от кого вы о том уведали?

— Из первого источника: от подруги ее, а моей невесты. Свадьбы наши будут тогда в один и тот же день.

— Не могу я поверить в такое счастье... Да и счастье ли то? Лизавета Романовна — баронесса, а я что — человек серый.

— Не красна на молодце одежда, сам собою молодец красен. Потерпи еще до послезавтра: по случаю великого дня ожидаются разные монаршие милости и тебя, сдастся мне, не совсем обойдут. Тогда пойдешь к своей зазнобушке не с пустыми руками, напрямик ей скажешь: так, мол, и так...

— Да у меня, Михайло Ларивоныч, и смелости не останется...

— Полно тебе малодушествовать! Не ровен час, еще кто другой ее у тебя перехватит. Сам, чай, знаешь кто.

— Это уж не дай Бог!

— То-то же. Смелость, брат, города берет.  
Гляди весело!

И Самсонов глядел весело, хотя сердце в груди у него все еще и трепетало, и замирало.

# Глава тридцать первая

## "НУ, ПОДУМАЙТЕ!"

Наступил и великий день 30 ноября, орденский праздник Андрея Первозванного.

На Самсонова напало опять сомнение.

"После литургии посыплются монаршие милости высоким придворным чинам, — думал он про себя. — Какое ж тут дело государыне до нас, мелкоты?"

Дома ему, однако, не сиделось, и в ожидании окончания службы в придворной церкви он отправился к Зимнему дворцу.

На дворцовой площади растянулся ряд карет. В разных местах, по случаю лютого мороза пылали костры. Около толпились кучера, продрогшие на своих козлах. Проходя мимо костра, он расслышал такую фразу:

— Тихомолком, поди, увезли, чтобы лишнего, значит, шуму в городе не было. Скатертью дорога!

— Кого увезли, братцы? — спросил, подходя, Самсонов.

— А бывшую правительницу, — отвечал

Один.

— Со чады и домочадцы, — добавил другой.

Самсонова точно обухом по голове хватило, он даже пошатнулся.

— Когда ж их успели увезти?

— А нонче, бают, в два часа утра.

Далее он уж не спрашивал, боясь услышать, что в числе увезенных «домочадцев» была и его зазнобушка.

"Михайло Ларивоныч, наверно, все доподлинно знает, ужо у самого спрошу..."

И со слабым лучом надежды он поплелся восвояси, а под вечер завернул опять на квартиру к Воронцову. Тот еще не возвращался из дворца. Наконец раздался резкий звонок, и Самсонов бросился в переднюю отпереть дверь.

— А, Григорий! Ты уже здесь? — весело заговорил входящий. — А я только что хотел за тобой послать. Полюбуйся-ка на меня.

Он повернулся спиной к огню и хлопнул себя по пояснице.

Там красовался на светло-голубой розетке длинный золотой ключ.

— Да это камергерский ключ! — заметил Самсонов. — Вы пожалованы в камергеры?

— И я, и братья Шуваловы, и Разумовский. Обещана нам также малая толика из конфискованных поместьев. Желаете ты, братец, быть тогда в моем новом поместье управляющим?

— Как не желать!

— Так считай себя уже у меня на службе; прижимать я тебя не буду и жалованьем не обижу. Но хотел я тебя видеть теперь не за этим. Нынче во дворце бал. Ты поедешь со мной и можешь надеть мой новый синий кафтан. Мы с тобой ведь одной комплекции.

— А для чего мне ехать, сударь?

— Благоверная государыня-царица, думается мне, допустит тебя к безмену и поднесет тебе также золотое яблочко на серебряном блюде.

Надежда в сердце у Самсонова готова была опять вспыхнуть ярким пламенем.

— Михайло Ларивоныч, скажите мне одно: Лизавета Романовна, значит, еще здесь и не уехала с принцессой?

Воронцов с трудом подавил улыбку и отве-



чал с притворно рассеянным видом:

— Лизавета Романовна? Гм... Признаться, я о ней и не справлялся, не до того мне, братец, было.

— Наверное вы знаете! Не мучьте меня, Бога ради, скажите!

— Будем вместе во дворце, там и справимся. А теперь примерь-ка кафтан.

Так-то к началу придворного бала в восемь часов вечера из подкатившей к главному крыльцу Зимнего дворца двухместной кареты вслед за Воронцовым вышел и Самсонов в воронцовском, с иголки, синем кафтане. В вестибюле они застали уже лейб-хирурга Лестока, охорашивавшегося перед зеркалом.

— Новому камергеру земной поклон! — приветствовал он Воронцова с преувеличенно почтительным поклоном. — А о нас, грешных, так и забыли?

— Не совсем, — отвечал Воронцов. — Скоро и вас мы будем иметь честь поздравить.

— О! С чем?

— Пока это тайна.

— Какие уж тайны между такими приятелями, как мы с вами? Шепните мне на ушко.

— Разве что на ушко. А дальше вы не пере- скажете?

— Ни-ни.

И Воронцов наклонился к его уху. По всему широкому лицу Лестока расплылась блажен- ная улыбка. Он обеими руками потряс руку приятеля.

— Вот это так! Ну, спасибо вам, добрейший мой. Никогда вам этого не забуду.

Какая награда ожидала лейб-хирурга, Сам- сонов тогда так и не узнал, да нимало этим и не интересовался. Впоследствии уж, когда вы- шла награда, оказалось, что Лесток сделан первым лейб-медиком с чином действитель- ного тайного советника, а также главным ди- ректором медицинской канцелярии и меди- цинского факультета с жалованьем в семь тысяч рублей.

— А слышали ли вы, дорогой друг, — про- должал словоохотливый Лесток, — что у мар- киза де ла Шетарди была уже депутация от гвардейцев благодарить за то, что он давал ее величеству такие добрые советы? Со своей стороны маркиз напоил их шампанским, ну, а они, по русскому обычаю, давай с ним обни-

маться, целоваться, кричать виват за свою государыню и за его короля. Дипломатический механизм, как видите, опять заведен. А правда ли, скажите, — продолжал болтун, понижая голос, — правда ли, будто Салтыкову дана еще секретная инструкция?

— Какому Салтыкову? — спросил Воронцов.

— Тоже ведь дипломат! Хе-хе-хе! — засмеялся Лесток и похлопал его дружески по спине. — Про какого Салтыкова может быть теперь и речь, как не про того, который сопрοводит брауншвейгцев за границу.

— Если дана секретная инструкция, так как же мне-то знать?

— Еще бы! А в дополнение к той секретной инструкции дана ему еще будто бы секретнейшая.

— В самом деле?

— Да, и такого содержания, чтобы он не торопился, а делал в дороге растяги дня на два, на три. С какой целью, спрашивается? Не затем ли, чтобы вернуть с пути всю фамилию и отправить в места российские не столь отдаленные?

— Тише, доктор! Вы забываете, что у стен здесь есть уши.

Действительно, и по лестнице, и у каждой двери парадных покоев дворца торчали придворные камер-лакеи, раболепно преклонявшиеся перед этими двумя общепризнанными любимцами молодой царицы.

— Иди-ка за мной, — сказал Воронцов следовавшему по пятам его Самсонову и провел его боковой анфиладой в отдаленную горницу. — Тут и подожди.

Ждать Самсонову пришлось довольно долго. Издали доносился сперва смутный гул от многоголосого говора и шарканья ног. Потом этот гул покрыт был гармоничными звуками оркестра. Бал начался, по обыкновению, английским променадом, который сменился затем французским контрдансом. А Самсонов в своем уединении слонялся из угла в угол, временами лишь останавливаясь перед той или другой из украшавших стены масляных картин. Но, глядя на картины, он их словно и не видел. В голове у него перекрещивались всевозможные и невозможные предположения о том, для чего его сюда вызвали, а потом

всплывала вдруг секретнейшая инструкция генералу Салтыкову.

Тут послышались шаги, и через комнату прошел из одной двери в другую камер-лакей.

— Постой, любезный! — остановил его на пороге Самсонов. — Не знаешь ли, что делает теперь государыня?

— Что делает государыня? — повторил тот, свысока озирая вопрошающего, как бы сообщая, отвечая ли ему вообще. Потом с подобающим своему званию достоинством промолвил:— Ее величество изволили пройтись в аглицком променаде с маркизом Шетарди, а теперича сели за карты с тремя другими полами: Финчем, Мардефельдом да Ботта.

Молвил — и проследовал далее.

Протекло еще с полчаса — для Самсонова полвечности, когда приближающийся шелковый шелест заставил его быстро обернуться.

"Вот оно!"

В дверях показалась сама императрица в сопровождении своей фрейлины-кузины и ее жениха. Самсонов низко склонился и замер.

В роскошном светлом бальном наряде, с

бриллиантовой диадемой на высокой, посыпанной пудрой прическе, с веером, как с магическим жезлом, в руке и с чарующей улыбкой на устах, вся олицетворение здоровья, красоты и изящества, она представлялась ему неземным видением, сказочной волшебницей, от воли которой зависело даровать ему все, о чем бы он когда-либо ни мечтал.

— Здравствуй, Самсонов, — заговорила она, заговорила так милостиво и просто, точно не была повелительницей многомиллионного народа, а он одним из самых скромных ее подданных. — Я тебя еще не поблагодарила. Не думал ли уж ты, что я оставлю тебя без всякой награды?

— Я имел счастье возить ваше величество. Это для меня самая дорогая награда, — отвечал Самсонов.

— Для тебя, но не для меня. Ты наравне с молодыми гренадерами помог мне в достопамятную ночь добраться до Зимнего дворца. Награды моим гренадерам выйдут не раньше Нового года. Тебе же, сказывали мне, очень уж к спеху (шутливая усмешка заиграла на лице царственной волшебницы). Так вот, я

решила теперь же сверстать тебя с ними в награде.[42] От поместья, которое я подарила Михаиле Илларионовичу на свадьбу его с моей любезной сестрицей, я отрезала для тебя небольшую усадебку, дабы, управляя тем помещьем, ты мог жить по соседству и своим собственным домком. А дабы и всему будущему потомству твоему жилось столь же вольготно, я жалую тебя потомственным дворянством.

— Ваше величество наградили меня прее выше всяких заслуг...

— Теперь, Аннет, твоя очередь, — сказала государыня.

Когда он тут поднял голову, она с Воронцовым выходила уже. Осталась одна Скавронская.

— Идем со мной, — предложила она ему и пошла вперед,

"Нет, нет, этого же быть не может..." — говорил себе Самсонов, следуя за ней, а у самого от ожидаемого несбыточного счастья сердце сладко ныло и голова кружилась.

Но несбыточное оказалось возможным. Они вошли в собственный будуар Скаврон-

ской, слабо освещенный висящим с потолка розовым, матового стекла, фонарем. Сквозь розовый полумрак Самсонов различил лишь стройную женскую фигуру, которая при входе их быстро поднялась с диванчика, но на полпути, как и он сам, приросла к полу.

— Что, деточки, не узнаете уже друг друга? — спросила Скавронская. — Познакомьтесь опять, не буду мешать вам.

И она удалилась, неслышно притворив за собою дверь.

Недаром назвала она их деточками. Как двое малюток, которым приходится в первый раз свести знакомство, они стояли друг против друга, не зная, с чего начать. Самсонов первый нарушил молчание.

— Вы еще здесь, Лизавета Романовна? А я было уже думал, что вас увезли...

— И увезли бы, если бы... — тихим голосом начала тут и она, не поднимая на него глаза, но, смутившись, поспешила на полуфразе заговорить о другом. — Ах, вот что, Гриша, скажи, был ты у Ломоносова?

— Был. Что это за умная голова! Что за душа-человек! Он достал мне из академии раз-



ных хороших книг...

— Чтобы сделать из тебя тоже ученого?

— Нет. "Не всем быть учеными, — говорил он мне, — матушке-России нужны также и деловые люди". А так как у меня больше всего склонности к деревенскому хозяйству, то и книг он раздобыл мне по этой же части.

— А где ж ты займешься опять своим деревенским хозяйством? Не в Лифляндии же?

— Зачем в Лифляндии, когда Михайло Ларивоныч делает меня управляющим своим новым поместьем да когда рядом у меня будет и своя собственная усадьба.

— Господи, как я за тебя рада! Но кто же и когда подарил тебе эту усадьбу?

— А сейчас вот только государыня императрица.

— И дала тебе также вольную?

— Не только вольную, но возвела меня и в потомственные дворяне.

— Правда? Теперь тебе, Гриша, кажется, желать уж нечего...

— Кроме одного, главного, Лизавета Романовна...

Он не договорил. Она подняла на него гла-

за, и взоры их встретились. Тут она поняла и, чтобы скрыть свое замешательство, спросила:

— А что твоя рука? Я все не могу забыть, что тебя тогда ненароком укусила.

— Она давно зажила.

— Покажи-ка.

На руке у него оказался только маленький белый рубец. Не успел он отдернуть руку, как Лили прижала губы к этому рубцу.

— Что вы делаете, Лизавета Романовна! — вскричал Самсонов.

— Теперь совсем заживет! А в деревне у себя один ты не соскучишься?

— До смерти соскучусь.

Она протянула ему обе руки.

— Так я поеду с тобой. Но дворянство твое, знай, ни при чем. Ты и так был мне всегда люб, и я пошла бы за тебя даже за крепостного...

Когда немного погодя Самсонов вышел из дворца на свежий воздух, он был как в хмельном чаду. Без определенной цели пошел он бродить по двадцатиградусному морозу. Будь тридцать, сорок градусов — внутренний жар

в нем и тогда не остыл бы. Ему надо было во что бы то ни стало поведать кому-нибудь о свалившейся на него с неба благодати. Но кто поймет его? К Ломоносову ночью не толкнешься. Разве завернуть к старику Ермолаичу?

Немало удивился тот, когда в полночную пору к нему ворвался его прежний юный товарищ. Но когда старик узнал еще от него про царские милости да про его предстоящую женитьбу на родовой баронессе и писаной красавице, он руками развел:

— Вот счастливчик-то! Ну, подумайте! И что же, ты повел себя с нею заправским женихом, обнял ее и расцеловал? Аль не дерзнул, духу не хватило?

Счастливчик в ответ смущенно только улыбнулся.

— Так что же, сказывай.

— Я вот что скажу тебе, старина, — признался тут Самсонов. — Стой тогда позади меня палач с отточенным топором, чтобы мне сейчас голову срубить за мою продерзость, я точно так же обнял бы, расцеловал бы ее крепко-накрепко, мою ненаглядную и желан-

ную!

— Ну, подумайте!

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С воцарением Елизаветы Петровны национально-русское направление окончательно восторжествовало, и основная тема нашего рассказа, таким образом, исчерпана. Остается сказать только несколько слов о дальнейшей судьбе главных действующих лиц рассказа.

Свадьбы двух подруг — Аннет Скавронской и Лили Врангель — состоялись, вопреки первоначальному предположению, в разное время. Скавронская венчалась с Воронцовым еще 31 января 1742 года с подобающей пышностью в придворной церкви в присутствии самой государыни и всего высочайшего двора. Самсонова тогда не было уже в Петербурге. Он находился за тысячу верст, чтобы принять пожалованное Воронцову поместье, а также и отрезанный от этого поместья ему самому небольшой участок. Вернулся он в Петербург уже в Великом посту, а потому венчаться с Лили ему можно было только на Красную горку. По желанию обоих, свадьба была самая скромная и тихая в приходской

церкви, в присутствии лишь посаженных отца и матери — супругов Воронцовых да двух свидетелей — Ломоносова и Ермолаича. На другой же день молодые собрались в путь-дорогу к своему новому пепелищу, где остались уже навсегда. Мужа приковывало не столько его собственное маленькое хозяйство, сколько управление большим, довольно запущенным, имением Воронцовых, которое постепенно, однако, было приведено им в цветущее состояние и служило затем образцом по всему Поволжью. Жене его было вдоволь забот с воспитанием своих деток. О столичных новостях они узнавали из выписываемых ими "Санкт-Петербургских ведомостей". Так, осведомились они, например, что 25 мая в Москве императрица Елизавета, торжественно короновалась и что в числе награжденных по этому случаю орденом Святого Александра Невского были также Воронцов и оба брата Шуваловы, что не далее как через два года Воронцов был возведен в графское достоинство и назначен вице-канцлером, а в 1758 году и канцлером, что Петр Иванович Шувалов в 1746 году сделан также графом, а впоследствии оба брата

дослужились до звания генерал-фельдмаршала. Особенно порадовало Самсонова назначение в 1745 году Ломоносова академиком-профессором химии, с чем он, конечно, и не преминул его письменно поздравить. Переписывались они вообще довольно редко (у того и другого было слишком много дел), но сам Ломоносов не забывал Самсонова, высылая ему как свои собственные сочинения, статьи и стихи, так и вновь выходящие книги по сельскому хозяйству и популярные издания.

Из тех же "Санкт-Петербургских ведомостей" наши провинциалы узнали также о ссылке врагов императрицы: Остермана — в Березов, Миниха — в Пелым, Левенвольде — в Соликамск...

О бывшей правительнице и ее семействе до них доходили только смутные, разноречивые слухи, которые затем так и замолкли. В действительности злосчастная брауншвейгская фамилия, остановленная в пути еще до германской границы, содержалась в заключении сперва в Риге, потом в Динамюнде и оттуда была отправлена в Раненбург, захолустный городок Рязанской губернии. Два года

спустя признано было нужным сослать их еще дальше — в Холмогоры, Архангельской губернии, где принцесса Анна Леопольдовна скончалась уже в 1746 году, на 28 году жизни. Тело ее было доставлено в Петербург и в пятницу на Вербной неделе предано земле в Александро-Невской лавре.

Супруг ее, принц Антон-Ульрих, остался с детьми в Холмогорах и, под старость ослепнув, дожил до 1774 года, так и не дождавшись свободы.

Старший сын их, бывший император Иоанн Антонович с первого же дня прибытия в Холмогоры был отделен от родителей, братьев и сестер и томился в одиночестве в нескольких шагах от них двенадцать лет. В 1759 году его перевезли на новое заточение — в Шлиссельбургскую крепость, где в 1764 году он и отдал Богу душу...

Остальные дети «брауншвейгцев», пережившие отца, были отправлены в 1780 году на жительство в Данию, в Дорсен, где пользовались уже относительными удобствами жизни, так как из русской казны им отпускалось до самой смерти по восьми тысяч рублей



на каждого.

Бывшая статс-фрейлина и главная фаворитка правительницы, баронесса Юлиана Менгден, первое время не разлучалась со своей госпожой. Но когда принцесса с супругом и детьми была удалена в Холмогоры, Юлиана была оставлена в Раненбурге под строгим караулом и возвращена из ссылки только в 1761 году императором Петром III. Поселившись в Риге, она вошла вновь в переписку со своим бывшим женихом, графом Линаром. Но тот и слышать не хотел уже о женитьбе, точно так же не спешил вернуть невесте полученные от нее для вклада в дрезденский банк деньги и бриллианты. Тут, к ее счастью, императрица Екатерина II, разбирая бумаги, оставшиеся после бывшей правительницы, нашла между ними расписку Динара. Расписка была переслана Юлиане, которой по ней и удалось наконец вернуть свое добро, хотя без процентов. Замуж она так никогда и не вышла, дожив до преклонных лет...

# Note1

Твоя любящая тебя кузина Мизи Врангель  
(нем.).

[^^^]

## Note2

Сын дочери Петра Великого, Анны Петровны,  
впоследствии император Петр III.

[^^^]

# Note3

Тревога (фр.).

[^^^]

# Note4

Помощь (лат.).

[^^^]

# Note5

То же, что гауптвахта (фр.).

[^^^]

# Note6

На войне как на войне (фр.).

[^^^]

## Note7

В манифесте, именем императора Иоанна объявлялось всем верноподданным, что "хотя, по предписанию императрицы Анны, регентом был назначен герцог курляндский, но ему велено было свое регенство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам, и особливо велено не токмо о ближайшем здравии и воспитании нашем попечение иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного тому исполнения, он дерзнул не токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать, и притом с употреблением непристойных угроз, и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которым не только любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой, и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы. И потому принуждены себя нашли, по усердному желанию и



прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина, оно́го герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оно́е правительство поручить нашей государыне матери".

[^^^]

# Note8

Неравный брак (фр.).

[^^^]

# Note9

Остроты (фр.).

[^^^]

# Note10

Да, мосъе, нет, мосъе (фр.).

[^^^]

# Note11

Маленькие игры (фр.).

[^^^]

# Note12

Визави (фр.).

[^^^]

# Note13

Делать хорошую мину при плохой игре (фр.).

[^^^]

# Note14

Спасибо, мадемуазель (фр.).

[^^^]



# Note15

В самом деле, мой дорогой граф! (фр.).

[^^^]

# Note16

Между нами говоря (фр.).

[^^^]

# Note17

Гарпагон — главное действующее лицо в комедии «Скупой» Мольера (1630–1673).

[^^^]

# Note18

Пышная скупость (лат.).

[^^^]

# Note19

Эльба желта. (нем.).

[^^^]

# Note20

\* \* \*

[^^^]

# Note21

\* Моя душа принадлежит Богу, моя жизнь — королю, мое сердце — дамам, моя честь — мне самому! (фр.).

[^^^]

# Note22

Тысяча извинений, мосье! (фр.).

[^^^]



# Note23

Bot (φp.).

[^^^]

# Note24

Черт возьми! (фр.).

[^^^]

# Note25

Черт возьми! (нем.).

[^^^]

## Note26

Главных пунктов было пять, и цесаревна ими обязывалась:

- 1. Вознаградить Швецию после войны за все ее военные издержки;*
- 2. В течение всего своего царствования давать Швеции известную субсидию;*
- 3. Предоставить шведам в России те же преимущества, какими пользовались уже там англичане;*
- 4. Отказаться от всех трактатов и конвенций, заключенных Россией с Англией и австрийским домом, и не вступать впредь в союзы ни с кем, кроме Швеции и Франции;*
- и 5. Содействовать во всех случаях выгодам Швеции и ссужать ее деньгами, когда она будет в них нуждаться.*

[^^^]

# Note27

Вперед! Вперед! (нем.).

[^^^]

# Note28

Вперед! Вперед! (нем.).

[^^^]

# Note29

Христина!

[^^^]

# Note30

Эй, Христина!

[^^^]



# Note31

\* \* \*

[^^^]

# Note32

\* Спи, дитя, спи (нем.).

[^^^]

# Note33

Пивная (нем.).

[^^^]

# Note34

Номинальная цена рейхсталера на русские деньги — 93 коп.

[^^^]

## Note35

Иоганн-Христиан Гюнтер (1695–1723) — придворный поэт курфюрста саксонского, составил себе громкое имя главным образом похвальными одами на разные случаи. Стихи его для того времени, когда еще не было ни Гете, ни Шиллера, отличаются звучностью и проникнуты искренним чувством.

[^^^]

# Note36

Черт возьми! (нем.).

[^^^]

# Note37

До 1871 года, когда создалась Германская империя, Германия состояла из множества государств, совершенно независимых друг от друга.

[^^^]

# Note38

Официант, пива! (нем.).

[^^^]



# Note39

Дорогая тетя (фр.).

[^^^]

# Note40

Отряд (фр.).

[^^^]

# Note41

Графиня Е. И. Головкина, по отцу княжна Ромодановская, приходилась принцессе Анне Леопольдовне двоюродной теткой, а императрице Анне Иоанновне двоюродной сестрой, так как ее мать, урожденная Салтыкова, была родной сестрой царицы Прасковьи Феодоровны, супруги царя Иоанна Алексеевича.

[^^^]

## Note42

По высочайшему указу 31 декабря 1741 года гренадерская рота Преображенского полка была переименована в лейб-компанию, причем весь состав роты до последнего рядового был возведен в потомственное дворянство и всем были отписаны деревни с крестьянами из конфискованных имений приверженцев немецкого лагеря: рядовым по 29 душ, а сержанту Грюнштейну 927 душ.

[^^^]